РОМЕН РОЛЛАН



КОЛА БРЮНЬОН



РОМЕН РОЛЛАН

КОЛА БРЮНЬОН

ЖИВ КУРИЛКА



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1979

И (Фраиц.).
Р 67

Перевод с французского
М. Лозинского

Роллан Ромен

Р 67 Кола Брюньон.— М.: Правда, 1979.— 272 с.
ИСБН.

«Кола Брюньои» — выдающееся произведение фраицузского писателя Ромен Роллана рассказывает о простой жизни крестьянина из Неверской Бургундни; это — киига, которая, по словам ее автора, «смеется иад жизиью, потому что иаходит в ней вкус и сама здорова».

Р $\frac{70304\text{-}333}{080(02)\text{-}79}$ 79 без объявлення 4 703 000 000

И (Фраиц.).

Текст печатается по издаиию:
Ромен Роллан. Собраиие сочииеиий в 9-ти томах, т. 5. М., 1974.

Святому Мартину Галльскому,
заступнику Кламси



Святой Мартын сам вина пьет,
А воду на плотину льет.
Поговорка XVI века



ПРЕДИСЛОВИЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ

Эта книга была полностью отпечатана и готова к выходу еще до войны, и я ничего в ней не меняю. Кровавая эпопея, героями и жертвами которой были внуки Кола Брюньона, доказала миру, что «жив курилка».

И народы Европы, покрытые славой и синяками, найдут, мне кажется, потирая бока, долю здравого смысла в рассуждениях, которым предается «ягненок из наших краев, меж волком и пастухом».

Ноябрь 1918.

К ЧИТАТЕЛЮ

Читатели «Жан-Кристофа», наверное, не ожидали этой новой книги. Не меньше, чем для них, она была негаданной и для меня.

Я подготовлял другие работы — драму и роман на современные темы — в несколько трагической атмосфере «Жан-Кристофа». Мне пришлось внезапно отложить все накопленные заметки, набросанные сцены ради этой беспечной книги, о которой я не думал еще и накануне.

Она явилась реакцией против десятилетней скованности в доспехах «Жан-Кристофа», которые сначала были мне в пору, но под конец стали слишком тесны для меня. Я ощутил неодолимую потребность в вольной галльской веселости, да, вплоть до дерзости. В то же самое время побывка в родных краях, которых я не видал с дней моей юности, дала мне снова соприкоснуться с родимой землей Неверской Бургундии, разбудила во мне прошлое, которое я считал уснувшим навеки, всех Кола Брюньонов, которых я ношу в себе. Мне пришлось говорить за них. Эти проклятые болтуны не успели, видно, наговориться при

жизни! Они воспользовались тем, что один из их внуков обладает счастливыми преимуществами грамотея (они часто по них вздыхали!), и решили взять меня в писцы. Как я ни отбивался:

— Послушайте, дедушка, ведь было же у вас время! Дайте и мне поговорить. Всякому свой черед!

Они отвечали:

— Малыш, ты поговоришь, когда кончу я. Во-первых, ничего занятнее ты все равно не расскажешь. Садись сюда, слушай и ни слова не пропускай... Право, мальчик ты мой, сделай это ради старика! Ты сам потом поймешь, когда будешь там, где мы... Самое тяжелое в смерти, видишь ли,— это молчание...

Что делать? Пришлось уступить, я стал писать с их слов.

Теперь с этим покончено, и я опять свободен (надеюсь, по крайней мере). Я могу вернуться к моим собственным мыслям, если, конечно, никто из моих старых болтунов не вздумает еще раз встать из могилы, чтобы диктовать мне свои письма к потомству.

Я не смею думать, чтобы в обществе моего Кола Брюньона читателям было так же весело, как автору. Во всяком случае, пусть они примут эту книгу такой, как она есть, прямой и откровенной, без всяких притязаний на то, чтобы преобразить мир или объяснить его, без всякой политики, без всякой метафизики, книгой «на добрый французский лад», которая смеется над жизнью, потому что находит в ней вкус и сама здорова. Словом, как говорит «Дева» (ее имя не может не быть помянуто в начале галльской повести), друзья, «примите благосклонно»...

Ромен Роллан.

Май 1914 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СРЕТЕНСКИЙ ЖАВОРОНОК

2 февраля

Слава тебе, Мартын святой! В делах застой. Не к чему и надсаживаться. Довольно я поработал на своем веку. Дадим себе передышку. Вот я сижу за своим столом, по правую руку — кружка с вином, по левую руку — чернильница; а напротив меня — чистая тетрадь, совсем новенькая, раскрывает мне объятия. За твое здоровье, сынок, и побеседуем! Внизу бушует моя жена. За окном воет ветер, и грозит война. Пускай. Как хорошо, что мы опять сошлись, милый ты мой пузан, вот так, лицом к лицу!.. (Это я тебе говорю, румяная рожа, сметливая, смешливая рожа, с длинным бургундским носом, посаженным накось, словно шляпа набекрень...) Но скажи ты мне, пожалуйста, отчего это мне доставляет такое удивительное удовольствие видеть тебя, склоняться, наедине, над моим старым лицом, весело рыскать по его рытвинам и, словно из колодца (а ну его, колодец!), словно из погреба, пить у себя в сердце полной чашей старые

воспоминания? Добро бы еще мечтать, а то писать, о чем мечтаешь!.. Да что я говорю — мечтать! Глаза у меня — открытые широко, большие, с морщинками в углах, спокойные и насмешливые; пустые грезы не для меня! Я рассказываю то, что видел, то, что сказал и сделал... Ну не безрассудство ли? Для кого я пишу? Разумеется, не для славы; я, слава богу, не дурак, я знаю себе цену... Для внуков? Что останется через десять лет от всех моих бумаг? Моя старуха меня к ним ревнует, она палит все, что ни найдет... Так для кого же? Да для самого себя. Для собственного нашего удовольствия. Я бы лопнул, если бы не писал. Недаром же я внук своего деда, который заснуть без того не мог, чтобы не записать на сон грядущий, сколько кружек он выпил и изрыгнул. Мне нужно поговорить; и мне мало словесных боев у нас в Кламси. Я должен излиться, как тот, что брил царя Мидаса[1]. Язык у меня длинноват; если бы иные меня слышали, могло бы запахнуть костром. Но что поделаешь? Если всего бояться, задохнешься от скуки. Я люблю, как наши большие белые волы, пережевывать вечером дневной корм. Как приятно потрогать, пощупать и помять все то, что подумал, заметил, собрал, посмаковать губами, испытать на вкус, не торопясь, так, чтобы таяло на языке, медленно, в обсоску, рассказывать самому себе все то, что не успел спокойно вкусить, пока ловил на лету! Как приятно пройтись по своему

[1] Здесь Кола́ имеет в виду легенду о царе Мидасе, скрывавшем от всех свои ослиные уши, данные ему в наказание богом Аполлоном. Открывший тайну Мидаса брадобрей, не смея сообщить ее людям, но желая с кем-нибудь поделиться секретом, вырыл в земле ямку и рассказал тайну земле.— *Прим. пер.*

маленькому миру, сказать себе: «Он мой. Здесь я хозяин и повелнтель. Нн холод, ни мороз над ним не властны. Нн король, ни папа, нн войны. Ни моя старая ворчунья...»

А ну-ка, я подведу счет этому миру!

Во-первых, я имею себя,— это лучшее из всего,— у меня есмь я, Кола Брюньон [1], старый воробей, бургундскнх кровей, обшнрный духом и брюхом, уже не первой молодости, полвека стукнуло, но крепкий, зубы здоровые, глаз свежий, как шпинат, и волос сидит плотно, хоть и седоват. Не скажу, чтобы я не предпочел его русым нли, еслн бы мне предложилн вернуться этак лет на двадцать илн на трндцать назад, чтобы я стал ломаться. Но в конце концов пять десятков — отлнчная штука! Смейтесь, молодежь. Не всякнй, кто желает, до нних доживает. Шутка, по-вашему, таскать свою шкуру по французскнм дорогам полвека сполна, в нашн-то времена... Бог ты мой, и вынесла же, мнлые мои, наша спннушка и ведра, и дождя! И пекло же нас, н жарило, и прополаскивало! И насовали же мы в этот старый дубленый мешок радостей н горестей, проказ и улыбок, опыта н ошибок, чего надо и чего не надо, и фиг, и винограда, и спелых плодов, и кислых дичков, и роз, и сучков, н всего, что видано и чнтано, и нспытано, что в жизни сбылось и пережилось! Всем этнм набнта наша сума вперемешку! И за-

[1] Colas — сокращенное Nicolas — Нниколай; Brugnon — побургундскн Breugnon — гладкнй персик. Breugnon иазванне деревни в окрестностях Кламсн. В тексте подлинннка герой всюду называется Brugnon, но на заглавном листе это нмя, в снлу случайных обстоятельств, изменено на Breugnon. — *Прим. пер.*

нятно же в ней порыться!.. Стой, не вдруг, милый друг! Пороемся завтра. Если я начну сегодня, то не будет и конца... Пока что запишем для справки, какие товары имеются у нас в лавке.

У меня есть дом, жена, четверо сыновей, дочь, замужняя (слава тебе, господи!), зять (само собой!), восемнадцать внуков, серый осел, собака, шесть кур и свинья. Ну и богач же я! Наденем очки, чтобы получше разглядеть наши сокровища. Перечисляю я их, по правде говоря, только для порядку. Случались войны, заглядывали солдаты, и неприятельские и приятельские. Свинья посолена, осел хром, погреб выпит, курятник ощипан.

Но жена-то у меня есть, черт возьми, есть действительно. Слышите ее голосок? О таком счастье не забудешь: она моя, она моя, голубушка, это я ее обладатель! Ах ты, старый плут, Брюньон! Все тебе завидуют... господа, за чем же дело стало? Если кто желает ее взять... Женщина бережливая, работящая, скромная, честная, словом, преисполненная добродетелей (это ей не впрок, и я грешный, сознаюсь, что семи тощим добродетелям предпочитаю упитанный грешок... Но будем добродетельны, раз уж приходится и такова воля божья)... Ой, и беснуется же она, наша неблагодатная Мария, наполняя дом своим сухопарым телом, всюду шаря, всюду лазя, ворча, бурча, бормоча, крича, от погреба до чердака, изгоняя пыль и тишину! Вот уже скоро тридцать лет, как мы женаты. Черт ее знает, почему! Я любил другую, которая смеялась надо мной; а она хотела меня, который ее не хотел. Это была, в те времена, маленькая бледненькая чернушка, чьи жесткие зрачки готовы были меня съесть живьем и сверкали, словно две капли

водки, гложущей сталь. Любила она меня, любила до смерти. И так она меня преследовала (до чего люди глупы!), что, отчасти из жалости, отчасти из тщеславия, а больше от усталости, дабы (хороший способ!) отделаться от этого наваждения, я стал (старый шут, лезет от дождика в пруд), я стал ее мужем. С тех пор она моя, добродетель у меня в доме. А она, она мстит, милое создание. За что? За то, что любила меня. Она меня бесит; ей, во всяком случае, хотелось бы меня взбесить; но не тут-то было: я слишком ценю свой покой и не настолько глуп, чтобы из-за слов огорчаться хоть на грош. Идет дождь — пусть идет. Гремит гром — пою на весь дом. И, когда она орет, я смеюсь во весь рот. Почему бы ей не орать? Разве я собираюсь ей мешать, этой женщине? Я ей смерти не желаю. Завел жену — забудь тишину. Пускай себе тянет свою песенку, я буду тянуть свою. Коль скоро она не делает попыток заткнуть мне клюв (она и не покушается, она знает, к чему бы это привело), пусть себе чиликает: у всякого своя музыка.

Впрочем, в лад ли звучат наши инструменты, или не в лад, мы, как-никак, исполнили с их помощью несколько недурных вещиц: дочку и четырех молодцов. Народ все прочный, хорошо слаженный; я не жалел материала и труда. Однако единственная из всего выводка, в ком я вполне узнаю свое семя,— это моя плутовка Мартинка, моя дочка, скотинка! Немалого стоило мне мужества довести ее до замужества! Ух, наконец-то она угомонилась!.. Полагаться на это не очень-то следует; но теперь мое дело сторона. Довольно я стерег и берег. Теперь моему зятю черед стеречь. Флоримон, пекарь, охраняй свою печь!.. Мы всегда спорим, всякий раз как встретимся; но ни с кем

мы так не ладим, как друг с другом. Славная девушка, рассудительная даже в своих сумасбродствах, и честная, но только честностью веселой: потому что для нее худший из пороков — это то, что скучно. Труд ей не страшен: труд — это борьба; борьба — это удовольствие. А она любит жизнь; она знает, что хорошо; как я: это моя кровь. Но только я, пожалуй, слишком расщедрился, когда ее создавал.

Мальчики удались мне не так. Мать подмешала своего, и тесто скисло: из четырех двое — богомолы, как и она, и вдобавок — враждебных толков. Один все время трется среди постных рож, попов, святош; а другой — гугенот. Сам не понимаю, как это я высидел этих утят. Третий — солдат, воюет, шатается неведомо где. А что касается четвертого, то это — ничто, как есть ничто: мелкий лавочник, безличный, как овца; я зеваю при одной мысли о нем. Я узнаю свое племя только с вилкой в кулаке, когда мы сидим, все шестеро, за моим столом. За столом их будить не нужно, все работают дружно; и любо смотреть, когда мы, все шесть, вся дюжина челюстей, садимся есть, отправляем куски за обе щеки и спускаем вино на самое дно.

После движимости обратимся к дому. Это тоже мое детище. Я его выстроил кусок за куском, и даже не раз, а три раза, на берегу ленивого Беврона, жирного и зеленого, полного травы, земли и навоза, при въезде в предместье, по ту сторону моста, который, как прилегшая такса, мочит брюхо в воде. Как раз напротив возвышается горделивая и легкая башня святого Мартына, в вышитой юбочке, и цветистый портал, к которому ведут черные и крутые ступени Старого Рима, словно в рай. Моя скорлупка, моя ха-

лупка расположена вне стен: так что всякий раз, как с башни завидят на равнине неприятеля, город запирает ворота, и неприятель является ко мне. Хоть я и не прочь покалякать, но без этих гостей я мог бы и обойтись. Чаще всего я ухожу, оставляю ключ под дверью. Но, когда я возвращаюсь, я иной раз не нахожу ни ключа, ни двери: всего-навсего четыре стены. Тогда я отстраиваюсь. Мне говорят:

— Дуралей! Ты работаешь на врага. Брось ты свою нору и переселяйся в город. Там ты будешь под защитой.

Я отвечаю:

— Ничего! Мне и тут хорошо. Конечно, за толстой стеной я буду безопасней. Но что я буду видеть за толстой стеной? Стену. Я иссохну от скуки. Мне нужна свобода. Мне нужно, чтобы я мог развлечься на берегу моего Беврона и, когда я не работаю, смотреть из моего садика на отблески, вырезанные в тихой воде, на круги, которые по ее глади выкидывают рыбы, на косматые травы, шевелящиеся на дне, удить, полоскать свои тряпки и опоражнивать свой горшок. И потом, как-никак, я тут жил всегда, переезжать поздно. Хуже не будет, чем со мной бывало. Дом, вы говорите, опять разрушат? Возможно. Милые мои, я и не притязаю на то, чтобы строить на веки вечные. Но раз я куда вбит, меня не так-то легко вытащить, ей-богу! Я отстраивался два раза, отстроюсь и десять раз. Не то чтобы я находил в этом удовольствие. Но мне было бы в десять раз скучнее переселяться. Я был бы как тело без кожи. Вы мне предлагаете другую, красивее, белее, новее? Она бы на мне сидела мешком или же лопнула бы. Нет уж, я предпочитаю свою...

Итак, перечтем: жена, дети, дом; все ли свои владения я обошел? Остается еще самое лучшее, я его припас на закуску, остается мое ремесло. Я из братства святой Анны, столяр. Я ношу на похоронах и в процессиях древко, украшенное циркулем на лире, а на нем господня бабка учит читать свою дочурку, благодатную Марию, крохотную девчурку. Вооруженный топориком, долотом и стамеской, с фуганком в руках, я царю за моим верстаком над дубом узлистым, над кленом лоснистым. Что я из них извлеку? Это смотря по моему желанию... И по чужому кошельку. Сколько в них дремлет форм, таящихся и скрытых! Чтобы разбудить спящую красавицу, стоит только, как ее возлюбленный, проникнуть в древесную глубь. Но красота, которую я обретаю у себя под рубанком, не жеманница. Какой-нибудь поджарой Диане, без переда и зада, любого из этих итальянцев, я предпочитаю бургундскую мебель, со смуглым налетом, кряжистую, сочную, отягченную плодами, как виноградный куст, этакий пузатый баул или резной шкаф, в терпком вкусе мэтра Гюга Самбена. Я одеваю дома филенками, резьбой. Я разворачиваю кольца винтовых лестниц; и, словно яблоки из шпалеры, я выращиваю из стен просторную и увесистую мебель, созданную как раз для того места, где я ее привил. Но самое лакомство — это когда я могу занести на бумагу то, что смеется в моем воображении, какое-нибудь движение, жест, изгиб спины, округлость груди, цветистый завиток, гирлянду, гротеск, или когда у меня пойман на лету и пригвожден к доске какой-нибудь прохожий со своей рожей. Это я изваял (и это венец всех моих работ), на усладу себе и кюре, скамьи в монреальской церкви, где двое горожан весело чокаются за столом,

над жбаном, а два свирепых льва рычат от злости, споря из-за кости.

Поработав, выпить; выпив, поработать,— что за чудесное житье!.. Я на каждом шагу встречаю чудаков, которые ворчат. Они говорят, что нашел я, мол, тоже время петь, что времена сейчас мрачные... Не бывает мрачных времен, бывают только мрачные люди. Я, слава тебе, господи, не из их числа. Друг друга грабят? Друг друга режут? Всегда будет так. Даю руку на отсечение, что через четыреста лет наши правнуки будут с таким же остервенением драть друг с друга шкуру и грызть друг другу носы. Я не говорю, что они не изобретут сорок новых способов делать это лучше нашего. Но я ручаюсь, что они не измыслят нового способа пить, и бьюсь об заклад, что лучше, чем я, они пить не научатся... Почем знать, что они будут выделывать, эти мошенники, через четыреста лет? Быть может, благодаря траве медонского кюре, чудодейственному Пантагрюэлиону, они смогут посещать области Луны, кузницу перунов и запруды дождей, селиться в небесах, бражничать с богами... Что ж, я отправлюсь туда вместе с ними. Ведь они мое же семя, из моей утробы племя. Плодитесь, голубчики! Но мое место — надежнее. Кто мне поручится, что через четыре столетия вино будет такое же доброе?

Жена меня попрекает, что я слишком люблю кутнуть. Я не брезгую ничем. Я люблю все хорошее: хороший стол, хорошее вино, славные, мясистые радости и те, нежнокожие, сладостные и бархатистые, которые вкушаешь в мечтах, божественное безделие, когда чего только не делаешь! (здесь ты властитель мира, юный, прекрасный, победоносный, ты преобразу-

ешь землю, ты слышишь, как растет трава, ты беседуешь с деревьями, зверями и богами) — и тебя, старый товарищ, тебя, который не предаст, мой друг, мой Ахат, мой труд!.. Как хорошо стоять с инструментом в руках у верстака, пилить, строгать, сверлить, тесать, колоть, долбить, скоблить, дробить, крошить чудесное и крепкое вещество, которое противится и уступает, мягкий и жирный орешник, который трепещет под рукой, словно хребет русалки, розовые и белые тела, смуглые и золотистые тела наших дубравных нимф, лишенные своих покровов, срубленные топором! Радость верной руки, понятливых пальцев, толстых пальцев, из которых выходит хрупкое создание искусства! Радость разума, который повелевает силами земли, который запечатлевает в дереве, в железе и в камне стройную прихоть своей благородной фантазии! Я чувствую себя монархом химерического царства. Мое поле отдает мне свою плоть, мой виноградник — свою кровь. Духи растительных соков выращивают для моего искусства, растягивают, утучняют, округляют и лощат прекрасные тела деревьев, которые я буду ласкать. Мои руки — послушные работники, управляемые моим старшим помощником, моим старым мозгом, который, будучи сам мне подчинен, налаживает игру, угодную моим мечтам. Служили ли кому-нибудь лучше, чем мне? Ну, чем я не царек? Разве я не вправе выпить за мое здоровье? И не забудем также (я чужд неблагодарности) здоровья моих доблестных подданных. Благословен день, когда я явился на свет! Сколько на этой круглой штуке великолепных вещей, веселящих глаз, услаждающих вкус! Господи боже, до чего жизнь хороша! Как бы я ни объедался, я вечно голоден, меня мутит; я, долж-

но быть, болен; у меня так и текут слюнки, чуть я увижу накрытый стол земли и солнца...

Но я расхвастался, господа: солнце скончалось; стоят холода. Этот жулик мороз забрался даже сюда. Перо спотыкается в моих окоченелых пальцах. Господи помилуй, в стакане у меня образовалась ледышка, и нос у меня побелел: ненавистный цвет, покойницкий! Не терплю ничего бледного. Ну-ка, встряхнемся! Колокола у святого Мартына звенят и заливаются. Сегодня Сретенье... «Зима либо кончается, либо сил набирается...» Злодейка! Она сил набирается. Так поступим же, как она. Выйдем на улицу встретить ее лицом к лицу...

Славный мороз! Сотни иголок покалывают мне щеки. Ветер, выскакивая из-за угла, хватает меня за бороду. Я согрелся. Слава тебе, господи, румянец мой опять заиграл... Люблю слышать, как у меня под ногами звенит затверделая земля. Я чувствую себя совсем молодцом. Что это у всех такой унылый вид, неприветливый?..

— Ну-ка, веселей, веселей, соседка! Кто вас обидел? Озорной ветер, который задирает вам подол! Он прав, он молод; мне бы его молодость! Он знает, куда куснуть, плутяга, сластена, знает лакомые кусочки. Что делать, кумушка, всякий хочет жить... Да куда вы бежите так, словно вас черти подхлестывают? К обедне? Восхвалим господа! Он всегда одолеет лукавого. Кто плачет — посмеется, озябший — обожжется... А, вот вы и рассмеялись? Все в порядке... А я куда бегу? К обедне, как и вы. Но только не к церковной. К полевой обедне.

Сперва я захожу к дочери, забрать свою маленькую Глоди. Мы каждый день гуляем вместе. Это моя лучшая подруга, моя маленькая овечка, моя лягушечка-стрекотушечка. Ей уже шестой год — шустрее мышки, хитрее лисички. Чуть завидит меня, бежит навстречу. Она знает, что у меня всегда полный короб побасенок; она их любит не меньше моего. Я беру ее за руку.

— Идем, малышка, идем встречать жаворонка.

— Жаворонка?

— Нынче Сретенье. Разве ты не знаешь, что сегодня он к нам возвращается с небес?

— А что он там делал?

— Добывал для нас огонь.

— Огонь?

— Тот самый, от которого светло, от которого кипит земная кастрюлька.

— Так огонь улетал?

— Ну да, на Всех святых. Каждый год, в ноябре, он улетает греть небесные звезды.

— Как же он возвращается?

— За ним отправляются три птички.

— Расскажи...

Она семенит по дороге. Тепло укутанная в белую шерстяную душегрейку, в голубом капоре, она похожа на синичку. Холод ей не страшен; но щечки у нее раскраснелись, как яблоки, а кочерыжка-носик течет в три ручья.

— Ну-ка, сморчок, сморкнись, сними со свечки! Или ты ее ради Сретенья зажгла? В небе лампаду затеплили.

— Расскажи, дедушка, про трех птичек...

(Я люблю, чтобы меня просили.)

— Три птички собрались в путь-дорогу. Три отважных приятеля: Королек, Зарянка и Жаворонок-дружок. Королек, вечно живой и подвижной, как мальчик-с-пальчик, и гордый, как Артабан, первый замечает в воздухе красивый огонь, который катится себе, как просяное зернышко. Он — на него, крича: «Я, я! Я поймал!» А остальные — вопить, орать: «Я! я! я!» Но уже Королек хапнул его на лету и — стрелой вниз... «Горю, горю! Горячо!» Словно горячую кашу, Королек перекатывает его у себя в клюве; не может больше, разинул рот, язык у него облупился; он огонек выплевывает, под крылышки засовывает. «Ай, ай, горю!» Крылышки пылают... (Замечала ты его подпалины и завившиеся перышки?) Зарянка тотчас же спешит ему на помощь. Она берет клювом огненное зерно и бережно прячет в свой теплый жилет. И вот ее красивый жилет начинает краснеть, краснеть, и кричит Зарянка: «Не могу больше, не могу! Я платьице прожгла!» Тут подлетает Жаворонок, храбрый дружок, хватает на лету огонь, который уже улепетывал на небеса, и быстро, ловко, метко, как стрела, падает на землю и зарывает клювом солнечное зерно в наши мерзлые борозды, которые так и млеют от удовольствия...

Сказка моя кончена. Теперь тараторит Глоди. При выходе из города я посадил ее себе на плечи, чтобы взобраться на холм. Небо пасмурно, снег под ногами хрустит. Кусты и чахлые деревца с худыми косточками набиты белым. Дым над хижинами подымается столбом, синий и неторопливый. Нигде ни звука, слышно только мою лягушечку. Мы достигаем вершины. У моих ног — мой город, который ленивая Ионна и бездельник Беврон окаймляют своими лентами. Да-

же весь заваленный снегом, весь застывший, иззябший и продрогший, он согревает мне душу всякий раз, как я его вижу.

Город красивых отсветов и плавных холмов... Вокруг тебя, переплетаясь, словно соломины гнезда, вьются нежные линии возделанных склонов. Продолговатые волны лесистых гор мягко зыблются, в пять или шесть рядов; вдали они синие: можно подумать — море. Но это не та вероломная стихия, которая швыряла ифакийца Улисса и его суда. Ни бурь. Ни козней. Все спокойно. Лишь кое-где словно вздох вздымает грудь холма. С волны на волну уходят прямые дороги не спеша, оставляя за собой точно корабельный след. На гребне зыбей, вдалеке, возносятся мачты везлэйской Магдалины. А совсем поблизости, на выгибе излучистой Ионны, бассвильские скалы высовывают из чащи свои кабаньи клыки. В ложбине, в кольце холмов, город, небрежный и нарядный, склоняет над водами свои сады, свои лачуги, свои лохмотья, свои драгоценности, грязь и гармонию своего простершегося тела и свою голову, увенчанную кружевной башней...

Так я любуюсь раковиной, при которой я улитка. Колокола моей церкви звучат в долине; их чистый голос разливается, как хрустальный ток, в тонком морозном воздухе. И пока я расцветаю, впивая их музыку, вдруг солнечная полоса рассекает серую оболочку, скрывавшую небо. И в этот самый миг моя Глоди хлопает в ладоши и кричит:

— Дедушка, я его слышу! Жаворонок, жаворонок!..

Тогда я, смеясь от счастья при ее звонком голосочке, целую ее и говорю:

— Слышу его и я. Птичка весенняя моя...

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОСАДА, ИЛИ ПАСТУХ, ВОЛК И ЯГНЕНОК

Знаем ваших ягнят.
Пусти их втроем — волка съедят.

Середина февраля

Мой погреб скоро будет пуст. Солдаты, которых господии де Невер, наш герцог, прнслал для иашей защнты, как раз прнннялнсь за мой последннй бочоиок. Не будем терять временн, ндем пить вместе с ннмн! Разоряться я согласен; но разоряться весело. Не первый раз! И если божественному мнлосердню угодно, то и не в последннй...

Славный иарод! Онн огорчаются еще больше моего, когда я им сообщаю, что влага убывает. Некоторые мон соседн относятся к этому трагически. А я перестал, меия ие уднвншь: я достаточно бывал в театре на своем веку, я уже не отиошусь серьезно к скоморохам. И иасмотрелся же я этнх харь, с тех пор как жнву на свете,— швейцарцев, иемцев, гаскоицев, лотарннгцев, боевой скотины, в сбруе и с оружнем, сараичи, голодных псов, вечно готовых грызть человечииу! Кто когда мог понять, за что они дерутся? Вчера — за короля, сегодня — за лнгу. То это святошн, то это гугеиоты. Все они хорошн! Лучшнй из иих н веревки ие стонт, чтобы его вешать. Не все ли иам равно, однн лн жулнк или другой мошеннчает прн дворе? А что до нх претензнн вмешнвать в свои дела господа бога... иет уж, мнлые мон голубчикн, господа бога вы оставьте! Он человек пожнлой. Если кожа

у вас свербит, царапайтесь сами, бог без вас обойдется. Не безрукий, поди. Почешется, если ему охота...

Хуже всего то, что они и меня хотят принудить валять с ними дурака!.. Господи, я тебя чту и полагаю, при всей моей скромности, что мы с тобой видимся не один раз в день, если только не врет поговорка, добрая галльская поговорка: «Кто пьет много, видит бога». Но мне бы никогда в голову не пришло говорить, как эти пустосвяты, что я с тобой отлично знаком, что ты мне родня, что все свои дела ты возложил на меня. Ты уж мне разреши оставить тебя в покое; и единственное, о чем я тебя прошу,— это чтобы и ты поступил со мной так же. Нам обоим хватит работы, каждому по своему хозяйству, тебе — в твоей вселенной, и мне — в моем мирке. Господи, ты мне дал свободу. Я плачу тебе тем же. А эти вот лодыри желают, чтобы я распоряжался вместо тебя, чтобы я говорил от твоего лица, чтобы я высказался, каким образом тебе угодно быть вкушаему, и чтобы того, кто вкушает тебя иначе, я объявил врагом и твоим и моим!.. Моим? Дудки! У меня врагов нет. Все люди мне друзья. Если они дерутся, это их добрая воля. Что до меня, то я выхожу из игры... Да, кабы можно было! В том-то и дело, что они не дают, мерзавцы. Если кому-либо из них я не стану врагом, то врагами мне станут и те и другие. Так ладно же, раз посреди двух станов, я буду вечно бит, начнем бить и мы! Я готов. Чем подставлять бока, бока, бока, дадим-ка лучше сами тумака.

Но кто мне объяснит, для чего заведены на земле все эти скоты, эти хари-стократы, эти политики, эти феодалы, нашей Франции объедалы, которые, воспе-

вая ей хвалу, грабят ее на каждом углу и, покусывая наше серебро, приглядывают и соседское добро; покушаются на Германию, зарятся на Италию и в гинекей к Великому Турку нос суют, готовы поглотить половину всей земли, а сами и капусты на ней посадить не умеют!.. Полно, мой друг, успокойся, раздражаться не стоит! Все хорошо и так, как оно есть... пока мы его не улучшим (а это мы сделаем при первой возможности). Нет такой поганой твари, которая бы на что-нибудь не годилась. Слыхал я, что однажды господь бог (что это я, господи, только о тебе сегодня и говорю?), с Петром прогуливаясь вместе, увидел в Бейанском предместье[1] — сидит женщина сложа руки и умирает от скуки. И до того она скучала, что наш отец, пошарив в доброте сердечной, вытащил, говорят, из кармана сотню вшей, кинул их ей и сказал: «На тебе, дочь моя, позабавься!» И вот женщина, встрепенувшись, начала охотиться; и всякий раз, как ей удавалось подцепить зверюшку, она смеялась от удовольствия. Такая же милость, должно быть, и в том, что небо нас наградило, ради нашего развлечения, этими двуногими тварями, которые гложут нам шкуру. Так будем же веселы, ха-ха! Гниды, говорят, признак здоровья. (Гниды — это наши господа.) Возрадуемся, братья: ибо в таком случае нет никого здоровее нас... И потом, я вам скажу (на ушко): «Терпение! Наша вывезет. Холода, морозы, сволочь лагерная и придворная побудут и пройдут. Добрая земля останется, и мы, чтобы она рожала. Она за один помет с лихвой свое вернет... А пока прикончим мой бочонок! Надо очистить место для будущего урожая».

---

[1] Бейан, или Вифлеем — предместье Кламси.— *Прим. авт.*

Моя дочь Мартина мне говорит:

— Ты бахвал. Тебя послушать, так можно подумать, что ты только глоткой и умеешь действовать: ротозейничать, трезвонить языком, зевать от жажды да на ворон; что ты спишь и видишь, как бы кутнуть, что ты готов пить, как губка; а ты и дня не проживешь без работы. Тебе хотелось бы, чтобы тебя считали вертопрахом, сорви-головой, мотом, гулякой, который не знает, что у него в кошельке, туго он набит или налегке; а сам бы заболел, если бы у тебя на дню всякое дело не отзванивало свой час, как на курантах; ты знаешь, до последней копейки все, что издержал с прошлой Пасхи, и еще не родился тот человек, который бы тебя надул... Простачок, буйная головушка! Полюбуйтесь на этого ягненка! Знаем ваших ягнят: пусти их втроем — волка съедят...

Я смеюсь, я не возражаю госпоже зубастой. Она права!.. Напрасно она все это говорит. Но женщина молчит только о том, чего не знает. А меня она знает, ведь я же ее сработал... Чего уж, Кола Брюньон, сознайся, старый ветрогон: как ты там ни блажи, никогда тебе не быть совсем блажным. Само собой, и у тебя, как у всякого, есть блажь за пазухой, и ты ее при случае показываешь; но ты ее суешь обратно, когда тебе нужны свободные руки и ясная голова для работы. Как у любого француза, у тебя так прочно сидят в башке чувство порядка и рассудок, что ты, забавы ради, можешь и покуролесить: опасно это только простофилям, которые смотрят на тебя, разинув рты, и вздумали бы тебе подражать. Пышные речи, звучные стихи, головокружительные затеи — все это весьма приятно: воодушевляешься, загораешься. Но при этом мы палим только хворост; а самих дров, в сарае сло-

женных, не трогаем. Фантазия моя оживляется и задает спектакль моему разуму, который ее созерцает, удобно усевшись. Все мне занятно. Театром мне служит вселенная, и я, не вставая с кресла, смотрю комедию: рукоплещу Матамору или Франкатриппе, наслаждаюсь турнирами и царственными празднествами, кричу «бис!» всем этим людям, которые ломают себе шею. Это они, чтобы доставить нам удовольствие! Дабы его усугубить, я делаю вид, будто и сам участвую в потехе и верю ей. Какое там! Я верю всему этому ровно настолько, чтобы мне было занятно. Так же вот, как я слушаю сказки про фей. И есть не только феи... Есть важный господин, живущий в Эмпирее. Мы его чтим весьма; когда он проходит по нашим улицам, предшествуемый крестом и хоругвью, с песнопениями, мы облекаем в белые простыни стены наших домов. Но между нами... Болтун, прикуси язык! Тут пахнет костром... Господи, я ничего не сказал! Я снимаю перед тобой шляпу...

Конец февраля

Осел, общипав луг, сказал, что стеречь его больше не требуется, и отправился объедать (стеречь, хотел я сказать) другой, по соседству. Гарнизон господина де Невера сегодня утром отбыл. Любо было смотреть на них, жирных, как окорока. Я был горд нашей кухней. Мы расстались с сердцем на устах, уста сердечком. Они высказывали всяческие любезные и учтивые пожелания, чтобы наши хлеба хорошо уродились, чтобы наш виноград не померз.

— Работай, дядя,— сказал мне Фиакр Болакр, мой постоялец-сержант. (Так он меня зовет, и по за-

слугам: «Тот настоящий дядя, кто потчует, в рот не глядя».) — Не жалей трудов и возделывай свой виноградник. На святого Мартына мы к тебе вернемся пить...

Славный народ, всегда готовый прийти на помощь честному человеку, который за столом борется со своим жбаном!

Все чувствуют себя как-то легче после их ухода. Соседи осторожно раскупоривают свои тайнички. Те, что еще недавно ходили с постными лицами и стонали от голода, словно в животе у них сидел волк, теперь из-под соломы сеновальной, из-под земли подвальной откапывают, чем накормить этого зверя. Нет нищего, который бы не сумел весьма умно, охая со всеми заодно, что ничего-то у него нет давно, припрятать лучшее свое вино. Я сам (уж и не знаю, как это так вышло), чуть только отбыл мой гость Фиакр Болакр (я проводил его до конца Иудейского предместья), вдруг вспомнил, хлопнув себя по лбу, про некую бочечку шабли, случайно забытую под конским навозом, куда она была положена для тепла. Я был этим весьма опечален, как это поймет всякий; но когда зло содеяно, то оно содеяно, и с ним приходится мириться. Я и мирюсь. Болакр, мой племянник, ах, чего вы лишились! Какой нектар, какой букет!.. Но вы не горюйте, мой друг, мой друг, но вы не горюйте: его выпьют за ваше здоровье!

Люди ходят по соседям, из дома в дом. Показывают друг другу находки, обнаруженные в погребах; и перемигиваются, как авгуры, со взаимными поздравлениями. Толкуют про убытки и напасти (по женской части). Соседская беда веселит, и забываешь свою собственную. Справляются о здоровье супруги

Венсана Плювьо. После каждого войскового постоя в городе, по странной случайности, эта доблестная дочь Галлии распускает пояс. Отца поздравляют, восхищаются мощью его плодоносных чресл в час общественного испытания; и по-дружески, смеха ради, без всякого злого умысла, я похлопываю по пузу этого счастливчика, у которого, говорю я, дом ходит с полным животом, когда все прочие при пустом. Все посмеиваются, как и следует, но вежливенько, по-простецки, во весь рот. Однако Плювьо наши поздравления приходятся не по вкусу, и он говорит, что лучше бы я смотрел за собственной женой. На что я ответил, что уж ее-то счастливый обладатель может спать крепко, не опасаясь за свой клад. Что подтвердил и стар и млад.

Но вот и масленица. Как ни плохо мы оснащены, ее надо ознаменовать. Это дело чести и для города и для каждого из нас. Что сказали бы про Кламси, родину сосисок, если бы к мясоеду у нас не оказалось горчицы? Сковороды шипят; уличный воздух напоен сладким запахом жира... Прыгай, блин! Выше! Прыгай, для моей Глоди!..

Гром барабанов, переливы флейт. Смех и крики... Это господа из Иудеи[1] являются на своей колеснице с визитом в Рим.

Во главе идут музыка и алебардщики, рассекающие толпу носами. Носы хоботом, носы копьем, носы охотничьим рогом, носы дулом, носы в колючках, словно каштаны, или с птицей на конце. Они растал-

---

[1] «Иудеей» прозвано Вифлеемское предместье, населенное кламсийскимн сплавщнками. «Р н м» — верхний город; это нмя он получил от так называемой «Старорнмской» лестннцы, ведущей от площадн св. Мартина к Бевронскому предместью.— *Прим. авт.*

кивают зевак, шарят в юбках у девиц, а те визжат. Но все шарахается и бежит перед королем носов, который прет, как таран, и, словно бомбарду, катит свой нос на лафете.

Следует колесница Поста, императора рыбоедов. Бледны, зелены, хмуры — тощие, дрожащие фигуры, в рясах и скуфьях или о рыбьих головах. Сколько рыб! У одного в каждой руке по карпу или по треске; у другого на вилке, вот, смотри насажены пескари; у третьего на плечах щучья голова, изо рта у нее торчит плотва, и он разрешается от бремени, пилой вспарывая себе брюхо, полное рыб. У меня, глядя на них, резь в животе начинается... Другие, разинув пасть и запустив туда пальцы, чтобы ее распялить, давятся, запихивая себе в горло (Пить! Пить! Пить!) яйца, которые не пролезают. Справа и слева, с высоты колесницы — хари совиные, рясы длинные — удильщики тянут на лесках поварят, которые скачут, наподобие козлят, их хапают на лету, кому что попадет,— обсахаренный орешек или птичий помет. А сзади пляшет дьявол, одетый поваром; он мешает в кастрюле большой ложкой; гнусным варевом пичкает он шестерых босоногих грешников, которые идут гуськом, просунув между перекладин лестницы свои перекошенные физиономии в вязаных колпаках.

Но вот и триумфаторы, герои дня! На троне из окороков, под балдахином из копченых языков, появляется Колбасная королева, увенчанная цервелатами, в ожерелье из сосисок, которые она кокетливо перебирает своими мясистыми пальцами, окруженная гайдуками, белыми и черными колбасами, кламсийскими сосисками, которых Жирколбас, полковник, ведет к победе. Вооруженные вертелами и шпиговальными

иглами, они весьма внушительны, тучные и лоснящиеся. Люблю я также этих сановников, у которых вместо живота — котел или вместо туловища — запеченный паштет и которые несут, словно цари-волхвы, кто свиную голову, кто бутылку сладкого вина, кто дижонскую горчицу. При звуках меди и кимвалов, шумовок и противней выезжает, под общий хохот, верхом на осле, король рогачей, друг Плювьо. Венсан, это он, он избран! Сидя задом наперед, в высоком тюрбане, со стаканом в руке, он внимает своей гвардии, навербованной из сплавщиков, рогатым чертям, которые с баграми и шестами на плечах, возвещают зычным голосом, на честном и откровенном французском языке, без всяких покровов, его славное житье и знаменитое бытье. Он, как мудрец, не выказывает при этом суетной гордости; равнодушный, он пьет, промачивает горло; но, поравнявшись с чьим-либо домом, прославленным той же участью, он восклицает, поднимая стакан: «Эй, собрат, за твое здоровье!»

Наконец, замыкая шествие, выступает красавица-весна. Юная девица, розовая и радостная, с ясным челом, с волосами золотыми, мелким хмелем завитыми, в венке из скороспелок, цветочек желт и мелок, и перевязь у ней, вокруг маленьких грудей, из сережек зелененьких с орешников тоненьких. Со звонким кошельком у пояса и с корзинкой в руках она поет, подняв светлые брови, широко раскрыв глаза, голубые, как бирюза, распяливая губки, показывая острые зубки, она поет ломким голоском, что скоро ласточка вернется в свой дом. Рядом с ней на повозке, запряженной четверкой больших белых волов, дородные красотки в самой поре, славные молодухи, стройные и упругие телом, и подростки в невыгодном возрасте,

которые, подобно молодым деревцам, вытянулись как попало. У каждой чего-нибудь недостает; но тем, что имеется, волк закусил бы недурно... Милые дурнушки! У одних клетки в руках, полные перелетных птах, другие, черпая из корзины у королевы-весны, кидают ротозеям сласти, сюрпризы, бумажные тюки, в которых юбки и колпаки, предсказанный рок, любовный стишок, кусок пирога, а то и рога.

Доехав до рынка, возле башни, девицы соскакивают с колесницы и пляшут на площади с писцами и приказчиками, в то время как Масленица, Пост и король рогачей продолжают свое торжественное шествие, останавливаясь каждые двадцать шагов, чтобы поведать добрым людям истину или узреть ее на дне стакана...

> **Пить! Пить! Пить!**
> **Не так же друзей отпустить!**
> **Нет!**
> Среди бургундцев нет такого дурака,
> Чтоб друга отпустил, не выпив с ним глотка.

Но от чрезмерной поливки язык тяжелеет и настроение подмокает. Моего приятеля Венсана с его свитой я покидаю у новой остановки, под сенью кабачка. День слишком хорош, чтобы сидеть в клетке. Надо подышать свежим воздухом!

Мой старый приятель, кюре Шамай, приехавший из своей деревни, в тележке с осликом, попировать у господина настоятеля церкви святого Мартына, приглашает меня прокатиться часть пути. Я беру с собой мою Глоди. Мы садимся в его трясучку. Пошел, длинноухий!.. Он такой маленький, что я предлагаю посадить его в тележку, между Глоди и мной... Тянется белая дорога. Дряхлое солнце дремлет; оно не

столько греет иас, сколько само греется у камелька. Ослик засыпает тоже и останавливается, погружеиный в думы. Кюре возмущенно окликает его своим колокольным голосом:

— Магдалинка!

Ослик вздрагивает, перебирает ножками, виляет между колеями и снова останавливается в раздумье, не внемля никаким разиосам.

— Ах, проклятый! Кабы не крест у тебя иа спине,— ворчит Шамай, шпигуя ему палкой бедра,— изломал бы я дубинку о твой хребет!

Чтобы отдохнуть, мы делаем остановку у первой же харчевни, иа повороте дороги, спускающейся оттуда к белому селению Арм, которое в зеркале вод острой мордочкой пьет. На соседнем лугу, вокруг высокого, раскидистого орешника, подымающего к лучистому небу свои черные руки и свой мощный оголенный остов, девушки ведут хоровод. Идем плясать!.. Это они принесли масленичный блин кумушке-сороке.

— Видишь, Глоди, видишь Марго-сороку, как она уселась в белом жилете, иа краю гиезда, вон там высоко-высоко, и смотрит вниз! Ишь, любопытная! Чтобы все подцепить своим круглым глазком и болтливым язычком, оиа построила себе дом без окон и дверей, иа самой высокой из ветвей, открытый иа все стороны. Она и зябнет, она и мокнет, иу так что? Зато ей все видно. Она ие в духе, у нее такой вид, словио она говорит: «На что мне ваши подарки? Дурачье, уберите их вон! Или вы думаете, что если бы мне захотелось вашего блина, то я бы не сумела слетать за иим сама? Дареиое есть иевкусно. Я люблю только краденое».

— Тогда почему же, дедушка, дарят ей блин с этими красивыми лентами? Почему поздравляют с праздником эту воровку?

— Потому что в жизни, видишь ли, со злыми лучше жить в ладу, чем с ними заводить вражду...

— Однако, Кола Брюньон, хорошему ты ее учишь! — ворчит кюре Шамай.

— Я ей не говорю, чтобы это было похвально, я только говорю, что так поступают все, и ты, кюре, первый. Выкатывай глаза! Когда тебе приходится иметь дело с какой-нибудь богомолкой, которая все видит, все знает, всюду сует нос, у которой рот набит злословьем, как мешок, да неужели же ты, чтобы ее унять, не заткнул бы ей клюв блинами?

— О господи, если бы это могло помочь! — восклицает кюре.

— Я Марго оклеветал, она лучше всякой женщины. Ее язык хоть иногда на что-нибудь полезен.

— А на что, дедушка?

— Когда подходит волк, она кричит...

И вдруг при этих словах сорока подымает крик. Она злится, она бранится, бьет крыльями, кружит в воздухе, осыпает поношениями кого-то или что-то, там, в Армской долине. На лесной опушке ее пернатые кумовья, кукша Шарло и ворон Кола, отвечают ей таким же резким и раздраженным голосом. Люди смеются, люди кричат: «Волк! Волк!» Никто этому не верит. Все-таки идут взглянуть (верить — хорошо, видеть лучше)... И что же видят?.. Батюшки мои! Отряд вооруженных людей, которые рысью поднимаются в гору. Мы их узнаем. Это эти разбойники, везлэйские войска, которые, зная, что наш город никем не

охраняется, решили застигнуть сороку (только не эту) в гнезде!..

Вы понимаете сами, что мы не теряем времени на их созерцание! Все кричат: «Спасайся, кто может!» Толкотня, давка. Улепетывают со всех ног, по дороге, через поля, кто стремглав, кто на обратной стороне собственной особы. Мы трое вскакиваем в тележку с осликом. Словно понимая, в чем дело, Магдалинка летит стрелой, подхлестываемая, что есть мочи, кюре Шамайем, который от волнения чувств начисто забыл про уважение, подобающее ослиной спине, отмеченной знамением креста. Мы катим в потоке людей, которые орут, как зарезанные, и, покрытые пылью и славой, первыми въезжаем в Кламси, опережая остальных беглецов. Мы мчимся вскачь, тележка громыхает, Магдалинка летит, кюре подгоняет, мы проносимся через Бейанское предместье, крича:

— Враг идет!

Поначалу люди смеялись, глядя на нас. Но скоро они поняли. И тотчас же все превратилось словно в муравейник, куда воткнули палку. Всякий метался, выбегал, возвращался, опять выбегал. Мужчины вооружались, женщины укладывали пожитки, вещи громоздились на тачки, в корзины, все население предместья, покинув своих пенатов, хлынуло в город, под защиту стен; сплавщики, как были, в нарядах и личинах, рогатые, когтистые, пузатые, кто в виде Гаргантюа, кто в виде Вельзевула, бросились к бастионам, вооруженные баграми и острогами. Так что, когда авангард господ везлэйцев подошел к стенам, мосты были подняты, и по ту сторону рвов никого не оставалось, кроме нескольких горемык, которым терять было нечего, а потому нечего и спасать, да короля рога-

чей, нашего друга Плювьо, забытого своей свитой, который, накачавшись до горлышка и пьяный, как Ной, сопел на своем осле, держа его за хвост.

И вот тут-то и познается вся выгодность иметь своими врагами французов. Другие остолопы, немцы, швейцарцы или англичане, которые думают животом и соображают к троице то, что им скажешь постом, решили бы, что над ними глумятся; и я бы полушки не дал за шкуру бедного Плюньо. А у нас понимают друг друга с полуслова: откуда люди ни явись, из Иль-де-Франса или из Прованса, из Шампани или из Бретани, будь это гуси из Боса, ослы из Бона или зайцы из Везлэ, сколько бы они ни дрались, как бы ни старались, в хорошей шутке наш брат француз всегда находит вкус... При виде нашего Силена весь неприятельский лагерь заржал, носом и ртом, глоткой и нутром, сердцем и животом. И, клянусь святым Геласием, видя, как они хохочут, мы сами лопались от смеха на своих бастионах. Затем мы начали обмениваться через рвы весьма забавной руганью; наподобие Аякса и Гектора троянского. Но только наши ругательства были на более нежном сале. Мне бы хотелось их записать, да некогда; и все-таки я их запишу (подождем!) в некий сборничек, куда я заношу вот уже двенадцать лет лучшие шутки, шалости и вольности, мною слышанные, сказанные или читанные (право, было бы жаль, если бы они пропали) за долгое мое скитание по этой юдоли слез. При одной мысли о них у меня трясется живот, и я посадил кляксу, вот эту вот.

Накричавшись вдоволь, надо было переходить к действиям (всякое действие после долгих речей отдохновительно). Ни у них, ни у нас особой к тому

охоты не было. Их попытка не удалась: мы были за прикрытием; лезть на стены им не хотелось ни капельки: долго ли поломать себе кости? Однако же надлежало во всяком случае что-нибудь предпринять, все равно что. Попалили порох, пощелкали: угодно — на, получай! Никто от этого не пострадал, кроме воробьев. Сидя, прислонясь к стене, в мирной тишине, мы ждали, чтобы пули угомонились, дабы пострелять и самим, хоть и не целясь (не следует слишком высовываться). Выглянуть решались, только когда слышно было, как вопят их пленники; там было с добрую дюжину бейанских мужчин и женщин, выстроенных в ряд, к городской стене не лицом, а тылом, и их пороли. Они орали благим матом, хотя беда была не так уж велика. Мы, чтобы отомстить, надежно укрытые, прошествовали вдоль наших куртин, потрясая над стеной пиками с насаженными на них окороками, цервелатами и колбасами. Нам слышно было, как осаждающие рычат от ярости и вожделения. Мы пришли в отличное расположение духа; и, чтобы использовать его вполне (когда затеял шутку, обглодай ее до косточек!), с наступлением вечера мы расставили под ясным небом на откосах, пользуясь стенами как ширмой, столы, нагруженные снедью и бутылками; мы сели пировать, с великим шумом, распевая и чокаясь за здравие широкой масленицы. Те чуть не полопались от бешенства. Так этот день прошел по-хорошему, без особого вреда, если не считать того, что один из наших, толстый Гено из Пуссо, пожелал, подвыпив, пройтись по стене со стаканом в руке, чтобы их подразнить, и ему из мушкета враги искрошили и стакан и мозги. И мы с нашей стороны, покалечили одного или двоих, в ответ. Но нашего настроения это

ие омрачило. Известио, иа всякой пирушке бывают разбитые кружки.

Шамай поджидал ночи, чтобы выбраться из города и вернуться к себе. Как мы его ни уговаривали:

— Друг, это дело опасное. Лучше пережди. Бог позаботится о твоих прихожанах,— ои отвечал:

— Мое место посреди моей паствы. Я господня рука; без меня бог будет однорук. А со мной он им не будет, я ручаюсь.

— Верю, верю,— сказал я,— ты это доказал, когда гугеноты осаждали твою колокольию и ты тяжелой булыгой укокошил их капитана Папифага.

— Нехристь был очень удивлен,— сказал Шамай.— И я не меньше. Я человек добрый и не люблю вида крови. Это отвратительно. Но черт его знает, что человека разбирает, когда все кругом теряют толк! Становишься сам как волк.

Я сказал:

— Это правда, стоит очутиться в толпе, как сразу лишаешься разумения. Сто мудрецов родят дурака, а сто баранов — бирюка... Скажи-ка мие, кстати, кюре, каким образом примиряешь ты эти две морали — мораль отдельного человека, который живет с глазу на глаз со своей совестью и желает мира себе и другим, и мораль человеческих стад, государств, которые из войны и преступления делают доблесть? Которая из них от бога?

— Что за вопрос!.. Да обе. Все от бога.

— Тогда он сам не знает, чего хочет. Или, скорее, знать-то знает, да не может. Если ему приходится иметь дело с людьми в одиночку, то это просто; ему иичего не стоит заставить их слушаться. Но когда люди соберутся толпой, тогда богу не по себе. Что

может один против всех? Тут человек предоставлен земле, матери своей, которая вселяет в него свой кровожадный дух... Помнишь сказку, где люди, по известным дням, становятся волками, а потом возвращаются в свою шкуру? Наши старые сказки знают побольше, чем твой молитвенник, друг кюре. В государстве всякий человек выступает в своей волчьей шкуре. И сколько бы государства, и короли, и их министры ни рядились пастухами и ни выдавали себя, жулики, за родичей великого пастуха, твоего доброго пастыря, все они рыси, быки, пасти и животы, которые ничем не набьешь. А для чего? Для того, чтобы утолить безмерный голод земли.

— Ты заврался, язычник,— сказал Шамай.— Волки от бога, как и все остальное. Он все устроил для нашего блага. Или тебе известно, что сам Иисус, говорят, сотворил волка, чтобы охранять капусту, которая росла в садике у пресвятой богородицы, от коз и козлят? Он был прав. Преклонимся. Мы вечно жалуемся на сильных. Но, друг мой, если бы слабые стали королями, было бы еще гораздо хуже. Вывод: все благо — и волки, и овцы; овцам нужны волки, чтобы их стеречь; а волкам — овцы, потому что надо же есть... А засим, мой Кола, я отправляюсь стеречь свою капусту.

Сутану подобрав, дубинку в руки взяв, он ушел в безлунную ночь, растроганно препоручив мне Магдалинку.

В следующие затем дни было не так весело. В первый вечер мы нажрались, как дураки, без счета, из чревоугодия, ради похвальбы и по глупости. И наши запасы более чем порастряслись. Пришлось стягивать животы; их и стянули. Но ломались по-прежнему.

Когда приели все колбасы, изготовили другие — кишки, начиненные отрубями, канаты, вымоченные в дегте,— и размахивали ими на гарпунах перед носом у неприятеля. Но мошенник открыл обман. Пуля однажды вспорола такую колбасу по самой середке. И кто тут посмеялся? Не мы. Чтобы нас доконать, эти разбойники, видя, что мы с наших стен удим рыбу в реке, взяли да и поставили у шлюзов выше и ниже по течению, большие сети, чтобы перехватывать улов. Тщетно наш настоятель увещевал этих нечестивцев не мешать нам говеть. За неимением постного пришлось питаться собственным жиром.

Разумеется, мы могли бы воззвать о помощи к господину де Неверу. Ну, говоря откровенно, мы не очень-то жаждали снова брать на постой его воинство. Выгоднее было иметь врагов снаружи, чем друзей внутри. И поэтому, пока можно было без них обойтись, мы помалкивали; так лучше было. Неприятель же был настолько скромен, что тоже их не вызывал. Предпочитали уладить дело сами, без посторонних. И вот, не торопясь, вступили в переговоры. А тем временем в обоих станах жизнь вели весьма благоразумную, ложились рано, вставали поздно, весь день играли в шары и в пробку, зевали, не столько от голоду, сколько от скуки, и спали так основательно, что мы, и постясь, жирели.

Двигаться старались как можно меньше. Но трудно было удержать ребят. Эти сорванцы, с их вечной беготней, визгом и смехом, всегда в движении, то и дело торчали на стенах, показывали осаждающим язык, обстреливали их камнями: у них была целая артиллерия из бузинных трубок, из пращей с веревочкой, из расщепленных палочек... хлоп, щелк, в са-

мую гущу! И наши мартышки рычат от смеха, а избиваемые, вне себя, клянутся их изничтожить. Нам крикнули, что если еще хоть один шалун на стене высунет нос, в него пальнут из аркебузы. Мы обещали за ними смотреть; но как мальчишек ни жури и как им уши ни дери, они ускользают, как угри. А хуже всего, я вам скажу (я и до сих пор еще дрожу), это то, что в один прекрасный вечер я вдруг слышу крик: оказывается, Глоди (вот и поди!), эта тихоня, святая картинка,— ах, скотинка, золото мое! — с откоса прыгнула в ров... Господи, я ее высечь был готов!.. В один миг я был на стене. И все мы свесились в вышине... Неприятель был бы в выигрыше, если бы избрал нас мишенью; но и он, как и мы, смотрел в ров на мою крошечку, которая (слава тебе, матерь божия!) скатилась мягко, как кошечка, и, ничуть не испугавшись, сидя на цветущей траве, подымала голову к головам, которые свешивались по сторонам, и, улыбаясь им в ответ, рвала букет. Все улыбались ей тоже. Монсеньер де Раньи, неприятельский комендант, велел, чтобы никто не обижал девчурку, и даже бросил ей, милый человек, свою бомбоньерку.

Но пока все были заняты Глоди, Мартина (с женщинами вечные истории), чтобы спасти свою овечку, бросилась тоже вниз по откосу, бегом, скользком, кувырком, с юбкой, задранной до шеи, являя врагам свои эмпиреи восток и запад, все зараз, всю твердь небесную напоказ и, в сиянии лучей, светило ночей. Ее успех был бесподобен. Но она не смутилась, забрала свою Глоди, расцеловала и отшлепала.

Воодушевленный ее прелестями, не слушаясь своего капитана, здоровенный солдат спрыгнул в ров и бросился к ней бегом. Она остановилась. Мы со сте-

ны кинули ей помело. Она его взяла и смело на врага пошла, и — раз! раз! вот как у нас! — повеса струхнул и — бей! валяй — улепетнул,— гремите, трубы и барабаны! Триумфаторшу подцепили, вместе с ребенком, при смехе звонком; и, гордый, как павлин, я тянул веревку, которая подымала мою плутовку, ослепившую вражеские очи звездою полуночи.

Еще неделя ушла на разговоры. (Для беседы всякий повод хорош.) Ложный слух о приближении господина де Невера нас, наконец, привел к согласию; и мир, в конечном счете, обошелся дешево: мы обещали везлэйцам десятину с будущего сбора винограда. Хорошо обещать то, чего нет, что еще будет... Быть может, его и не будет; во всяком случае, немало воды под мостом протечет, и немало вина — в наш живот.

Таким образом, обе стороны были очень довольны друг другом, а собой и еще того более. Но не успели мы обсохнуть после ливня, как попали под новый дождь. В самую ночь после заключения мира в небесах явилось знамение. В десять часов оно показалось из-за Самбера, где оно таилось, и, скользя по звездному лугу, протянулось, как змей, к Сен-Пьер-дю-Мону. Вид оно имело меча, и острие у него было, как факел, с дымными языками. А рукоять держала рука, пальцы у которой оканчивались вопиющими головами. На безымянном персте была женщина с развевающимися волосами. И ширина меча была: у рукояти — пядень; у острия — семь-восемь линий; посредине — два дюйма и три линии, ровно. И цвет его был кровавый, багровый, припухлый, словно рана на теле. Все мы задрали к небу головы, разинув рты; слышался стук зубовный. И оба стана гадали, которому из них грозит вещий знак. И мы бы-

ли твердо уверены, что тому. Но у всех мороз по коже подирал. Кроме меня. Мне не было страшно. Надо сказать, что я ничего не видал, я лег в постель в девять часов. Но лег, повинуясь календарю, ибо это было число, указанное для приема лекарства; а где бы я ни был, раз календарь велит, я подчиняюсь беспрекословно, ибо это небесная заповедь. Но так как мне все рассказали, то это все равно, как если бы я видел сам. Я и записал.

Когда мир был подписан, недруги и други сели вместе пировать. И так как подоспело преполовение поста, то разговелись вовсю. Из окрестных деревень к нам прибыли изобильно, чтобы отпраздновать наше освобождение, и снедь и едоки. Это был знатный день. Стол был накрыт во всю длину стен. Поданы были три вепренка, зажаренные целиком, начиненные пряным крошевом из кабаньих потрохов и чапурьей печенки; душистые окорока, копченные в очаге на можжевеловых ветках; заячьи и свиные паштеты, приправленные чесноком или лавровым листом; требуха и сосиски; щуки и улитки; рубцы, черное рагу, такое, что от одного запаха щекотало в мозгу; и телячьи головы, таявшие на языке; и неопалимые купины проперченных раков, обжигавшие вам глотку; а к ним, чтобы ее умягчить, салаты с немецким луком и уксусом, и добрые вина — шапот, мандр, вофийу; а на десерт — белая простокваша, прохладная, упругая, расплывавшаяся во рту; и сухари, которые вам высасывали полный стакан, разом, как губка.

Никто не встал из-за стола, пока не съели все дотла. Благословен господь, сподобивший нас в столь

тесное пространство, в мешок нашего живота, погружать бутылки и блюдо. Особенно хорошо было единоборство между иноком Куцоухом от святого Мартына Везлэйского, который сопровождал везлэйцев (этим великим иаблюдателем, который, говорят, первый установил, что не задрав хвоста, осел ие может раскрыть уста), и иашим, не ослом, а отцом Геннекеиом, утверждавшим, что ои, должно быть, был иекогда карпом или щукой, до того ему иенавистна вода, которой он, вероятио, слишком много выпил в предшествующей жизни. Словом, когда мы встали из-за стола, везлэйцы и кламсийцы, мы уважали друг друга много больше, чем за супом: человек познается за едой. Кто любит хорошее, того и я люблю: ои добрый бургуидец.

Наконец, чтобы окоичательно нас сдружить, как раз когда мы переваривали обед, явились подкрепления, высланные господином де Невером для нашей защиты. Нам стало очень весело; и оба иаши стана весьма учтиво попросили их вернуться вспять. Они не посмели упорствовать и ушли пристыженные, как собаки, которых овцы послали пастись. И мы говорили, обнимаясь:

— И дураки же мы были, что дрались ради иаших охраиителей! Если бы у иас ие было врагов, они бы их выдумали, ей-ей, чтобы нас защищать! Покорнейше благодарим! Спаси нас, боже, от наших спасителей! Мы и сами себя спасем. Бедные овечки! Если бы нам беречься только волка, наша участь была бы не так плоха. Но кто нас убережет от пастуха?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

БРЭВСКИЙ КЮРЕ

Первого апреля

Как только дороги очистились от этих непрошеных гостей, я решил сходить, не откладывая, проведать моего Шамайя в его деревне. Не то чтобы я очень за него беспокоился. Этот молодец за себя постоять умеет! Но как-никак на душе спокойнее, когда увидишь воочию далекого друга... И потом необходимо было размять ноги.

Вот я и собрался, никому ничего не говоря, и шел себе, посвистывая, берегом реки, вьющейся вдоль лесистых холмов. На свежие листочки падали кружочки благословенного дождичка, весенних слез, который то перестанет, то опять забарабанит. Влюбленная белка мяукала в ветвях. Гуси тараторили на лугах. Дрозды заливались вовсю, а синичка-невеличка разговаривала: «ти-ти-тю».

Дорогой я решил остановиться, чтобы прихватить с собой в Дорнеси другого моего приятеля, нотариуса, мэтра Пайара: подобно Грациям, мы бываем в полном составе только втроем. Я его застал в конторе заносящим в книги погоду сего дня, сны, ему приснившиеся, и взгляды свои на политику. Рядом с ним лежала раскрытой, возле «De Legibus» [1], книга «Пророчеств господина Нострадамуса». Когда всю жизнь сидишь взаперти, дух старается отыграться и принимается странствовать по равнинам мечтаний и в дебрях

---

[1] «О законах» (*лат.*)

воспоминаний; и хоть движет не он земную машину, он считает в грядущем ее судьбину. Все, говорят, предначертано; я этому верю, но сознаюсь, что умею вычитывать в «Центуриях» будущее только тогда, когда оно уже исполнилось.

При виде меня милейший Пайар просиял; и весь дом сверху донизу огласился нашим смехом. Мне всякий раз радует очи этот человечек, пузатенький, с рябым лицом, толстощекий, красноносый, с морщинками вокруг живых и хитрых глаз, с видом хмурым, вечно брюзжащий на погоду, на людскую породу, но, в сущности, великий весельчак и зубоскал и еще больший затейник, чем я сам. Для него истинное удовольствие отпустить вам, со строгим видом, чудовищную загогулину. И любо на него смотреть, когда он величественно восседает за столом с бутылкой, призывая Кома и Мома и затягивая песенку. Радуясь мне, он держал меня за руку своими толстыми и неуклюжими руками, но шустрыми, как и он сам, дьявольски ловко умеющими управляться со всякого рода инструментами, пилить, тесать, переплетать, столярничать. Он все в доме смастерил сам; и все это некрасиво, но все — его работа; и, красиво или нет, это его портрет.

Чтобы не утратить привычки, он пожаловался на то, на се; а я из противоречия похвалил и се и то. Он — доктор Всехул, а я — Всехвал; таковы наши роли. Он поворчал на своих клиентов; и, конечно, нельзя не признать, что они не очень-то прилежно ему платят: ибо некоторым из этих долгов уже по тридцать пять лет; а он, хоть и заинтересован в этом, не торопится их взыскать. Иные если и расплачиваются, то случайно, когда вздумается, натурой: корзина яиц, пара цыплят. Таков уж обычай; и сочли бы оскорблением, если

бы он стал вдруг требовать деньги. Он ворчит, но не спорит; и мне кажется, что на их месте он поступал бы совершенно так же.

К счастью для него, жить ему есть на что. Состояньице кругленькое, несущее яйца. Потребностей мало. Старый холостяк; за юбками не гоняется; а что до удовольствий стола, то Природа у нас об этом позаботилась,— у нас в полях накрытый стол. Наши виноградники, наши крольчатники, наши плодовые сады, наши рыбные садки — кладовая обильная. Больше всего тратит на книги, которые если и показывает, то издали (не любит ими ссужать, скотина), да на свою страсть — смотреть на луну (проказник!) в этакую трубу, как их с недавних пор привозят из Голландии. У себя на чердаке, на крыше, посреди труб, он соорудил шатучую площадку, откуда важно созерцает круговращение тверди; он старается вычитать в ней, без особого толка, азбуку наших судеб. Впрочем, сам он этому не верит, но ему нравится верить. И в этом я его понимаю: приятно смотреть из окна, как проходят звезды над головой, словно барышни по мостовой; им приписываешь истории, романы, интриги; и правда это или неправда, а занятнее всякой книги.

Мы долго спорили о чуде, о кроваво-пламенном мече, который в прошлую среду ночью явился людям воочью. И каждый из нас толковал знамение на свой лад; разумеется, каждый настаивал с пеной у рта, что на его стороне правота. Но в конце концов обнаружилось с обеих сторон, что ничего не видели ни я, ни он. Ибо как раз в этот вечер мой астролог за своим инструментом вздремнул часок. Когда видишь, что не ты один в дураках, примиряешься со своей участью. Мы примирились с ней весело.

И мы двинулись в путь, твердо решив скрыть этот случай от нашего кюре. Мы шли полями, рассматривая молодые побеги, розовые веточки кустов, птиц, вивших себе гнезда, и ястреба над равниной, кружившего в небе колесом. Мы вспоминали, смеясь, какую славную шутку мы как-то сыграли с Шамайем. Несколько месяцев кряду мы с Пайаром из кожи лезли вон, обучая дрозда в клетке гугенотскому песнопению. Затем пустили его в сад к господину кюре. Пообжившись там, он сделался наставником прочих дроздов в деревне. И Шамай, которому их хорал не давал покою, когда он читал свой молитвенник, крестился, чурался, думал, что дьявол к нему в сад забрался, заклинал его в ярости своей, притаясь за ставнем, подстреливал нечистого. Впрочем, он не так уж от этого страдал. Потому что, убив дьявола, он его съедал.

Беседуя, мы, наконец, пришли.

Брэв, казалось, спал. Дома вдоль улицы зевали, разинув двери, под солнышком пригожим в глаза прохожим. Единственным человеческим лицом был над канавой зад мальчишки, который прохлаждался, спустив штанишки. Но по мере того как мы с Пайаром, взявшись под руку и разговаривая, подходили все ближе к середине местечка, шагая по дороге, усеянной соломою и коровьим пометом, до нас все громче доносилось словно гудение рассерженных пчел. И когда мы вышли на церковную площадь, она оказалась запруженной людьми, которые размахивали руками, шумели и голосили. Посередине, у калитки своего сада, Шамай, красный от злости, орал, грозя прихожанам кулаками. Мы старались понять, в чем дело, но слышали только гул голосов.

«Гусенницы, жукн, полевые мыши... Господн, услыши...»

А Шамай крнчал:

— Нет! Нет! Я не пойду!

А толпа:

— Разразн тебя гром! Поп ты наш нли нет? Отвечай: да или нет? Еслн ты наш поп,— а ты наш поп,— то ты нам и служнщь.

А Шамай:

— Бродягн! Я служу богу, а не вам...

Галдеж стоял изрядный. Шамай, чтобы покончить с ннм, захлопнул калнтку перед носом у своих пасомых: сквозь прутья еще раз мелькнули его руки, нз которых одна по привычке елейно окропляла народ дождем благословения, а другая воздымала над землей гром проклятия. Напоследок в окне дома показались его круглый живот и четырехугольное лнцо, которое, не в силах перекричать орущнх, яростно состроило им в ответ длнннный нос. Затем ставни захлопнулись, и дом принял непроницаемый вид. Крикуны утомились; площадь опустела; и мы, обогнув поредевших зевак, могли, наконец, постучать в дверь Шамая.

Стучали мы долго. Упрямый скот не желал отворять.

— Эй! Господнн кюре!

Сколько мы ни взывали (измененным голосом, чтобы позабавнться):

— Мэтр Шамай, вы дома?

— К черту! Нет меня дома.

И так как мы упорствовалн:

— Провалнвайте вон! Если вы не уберетесь с моего порога, я вас, собачью ораву, окрещу на славу.

Он чуть не опорожнил на нас свой рукомойник. Мы крнкнули:

— Шамай, ты бы хоть вином!

При этих словах, словно чудом, гроза утихла. Алая, как солнце, свесилась обрадованная физиономия Шамайя:

— Святые угодники! Брюньон, Пайар, это вы? А я-то чуть не наделал делов! Ах вы, шутники проклятые! Чего же вы не сказали?

И он, как лавина, скатывается по лестнице.

— Входите! Входите! Будьте благословенны! Дайте-ка я вас расцелую! Милые мои, до чего же я рад видеть человеческое лицо после всех этих обезьян! Видели вы, что они тут выплясывали? Пусть себе пляшут, сколько им угодно, я с места не двинусь. Идемте наверх, выпьем. Вам, небось, жарко. Требовать, чтобы я пошел со святыми дарами! Скоро дождь; мы бы с господом богом вымокли до ниточки. Или мы у них на жалованье? Или я поденщик? Обращаться со служителем божьим, как с батраком! Дармоеды! Я поставлен блюсти их души, а не их поля.

— Послушай,— спросили мы,— о чем это ты? На кого это ты так взъелся?

— Идем, идем наверх,— сказал он.— Там нам будет удобнее. Но прежде всего необходимо выпить. Я не могу, я задыхаюсь!.. Как вы находите это вино? Ей-ей, оно не из самых плохих. Верите ли, друзья мои, что этим скотам угодно, чтобы я каждый день, начиная с пасхи и до самого вознесения, служил молебствия... Почему бы не от крещения до Нового года?.. И это ради жуков!..

— Жуков! — сказали мы.— Вот ты так действительно как будто муху убил. Ты заговариваешься, Шамай.

— Я не заговариваюсь! — воскликнул он возмущенно.— Нет, знаете, это уж слишком. Я должен терпеть все их безумства, и я же и безумен!

— Тогда объяснись, как человек здравомыслящий.

— Вам легко говорить,— отвечал он, яростно отирая лицо.— Я должен оставаться спокоен, когда нас тормошат, меня и господа бога, господа бога и меня, весь божий день, чтобы мы потакали их ерундовым выдумкам! Буди вам известно (ух, я задохнусь, положительно!), что эти язычники, которые в грош не ставят вечное спасение и не омывают ни душ своих, ни ног, требуют от своего кюре, чтобы он добывал им и дождь и ведро. Я должен приказывать солнцу, луне: «Чуточку тепла, водички; хватит, достаточно; чуточку солнышка, да чтоб было мягкое, подернутое; легкий ветерок, главное — без морозов; еще поливочку, господи, для моего винограда; стой, хватит мочиться! А теперь изволь подогреть...» Послушать этих лодырей, так господу богу остается уподобиться, под бичом молитвы, рабочему ослу, который ходит по кругу и накачивает воду. Вдобавок (это лучше всего!) они и промеж себя несогласны: одному нужен дождь, другому солнце. И вот они скликают святых на подмогу. Их там тридцать семь, поливающих. Во главе выступает с копьем в руке Мерард святитель, великий мочитель. На той стороне их только двое: святой Раймунд и святой Деодат, чтобы разгонять тучи. Но спешат на выручку святой Власий-ветрогон, Христофор-градоборец, Валериан-грозоглот, Аврелиан-громорез, святой Кларсолнцедар. В небе раздор. Все эти важные особы идут на кулачки. Святые Сусанна, Елена и Схоластика рвут друг друга в клочки. Не знает и сам господь бог, какой бы святой тут помог. А если бог не знает, то отку-

да знать кюре? Бедный кюре! В конце концов я в стороне от битвы. Я здесь на то, чтобы передавать молитвы. А кто Авель, кто Каин, решает хозяин. Поэтому я ничего бы не стал говорить (хотя, между нами, это идолопоклонство мне претит. Иисусе милостивый, или ты напрасно умирал?), если бы эти бродяги меня-то хоть не вмешивали в небесные передряги. Но они прямо с ума сошли, они желают пользоваться мною и святым крестом, как талисманом, против всего, что им грозит изъяном. То это крысы, которые у них пожирают хлеб в амбарах. Крестный ход, заклинания, молитвы святому Никасию. Морозный декабрьский день, снегу по пояс: я схватил прострел... То это гусеницы. Молитвы святой Гертруде, крестный ход. На дворе март: град, талый снег, мерзлый дождь; я охрип, кашляю по сей день... Сегодня — жуки. Опять крестный ход! Я должен обходить их сады (свинцовый солнцепек, тучи пузатые и сизые, как мухи, будет гроза, в самый раз схватить воспаление легких) и должен распевать: «Ibi ceciderunt делающие беззаконие, atque изринуты sunt и не возмогут stare...» [1]. Ведь изринут-то буду я! «Ibi cecidit [2] Шамай Батист, по прозвищу Сладостный, кюре...» Нет, нет, нет, покорнейше благодарю! Мне спешить некуда. Самая веселая шутка, и та приедается. Мое ли дело, скажите, пожалуйста, морить им гусениц? Если жуки им мешают, пусть они обезжучиваются сами, бездельники этакие! Береженого бог бережет. Было бы очень просто сложить руки и говорить кюре: «Исполни то, исполни это!» Я исполняю волю божию и мою: я пью. Я пью.

[1] Псалом 36: «Тамо падоша вси делающии беззакоиие, изриновеии быша и ие возмогут стати».
[2] Тамо паде.

Пейте и вы... А они, если им угодно, пусть осаждают мой дом! Мои друзья, мне все равно; пусть будет твердо решено, что они раньше ко мне повернутся тылом, чем я своим тылом в этом кресле. Давайте пить вино!

Он принялся за винопийство, утомясь от долгого витийства. И мы, подобно ему, прочистили глотки и подняли стаканы, созерцая сквозь них небеса и нашу судьбу, каковы представлялись нам розовыми. Несколько минут царила тишина. Только Пайар пощелкивал языком да в толстой шее у Шамайя булькало вино. Он пил залпом, а Пайар глоточками. Шамай, когда поток исчезал в его дыре, издавал «ха!», возводя очи горе. Пайар оглядывал свой стакан и сверху и снизу, на тень и на свет, посасывал, посапывал, пил и небом, и носом, и глазом. Я же наслаждался разом и питьем и питухами: мое удовольствие усугублялось их удовольствием и лицезрением их: пить и видеть — сугубый вкус, королевский кус. Но это мне не мешало усердно подхлестывать и мой стаканчик. И мы, все трое, шли бодро в ногу; никто не жаловался на дорогу!.. Но кто бы подумал? В конечном счете, поддав на повороте, всех обогнал, изумляя свет, господин законовед.

Когда подвальная роса нежно умягчила наши гортани и вернула бодрость жизненным силам, наши души расцвели и лица тоже. Облокотясь у открытого окна, мы с восторженным умилением любовались молодой весной в полях, веселым солнцем на нежно оперенных тополях, укрытой в глубине долины Ионной, которая кружит и кружит среди лугов, подобно резвой собачке, и нам слышно было, как голосят прач-

ки, и вальки звякают, и утки крякают. И Шамай, просветлевший лицом, говорил, пощипывая нас за локти:

— Как хорошо жить в этом краю! Благословен господь небесный, давший нам с вами родиться тут. Ну, есть ли что-нибудь милее, веселее, умилительнее, восхитительнее, вкусней, жирней, сочней и миловидней! У меня слезы на глазах перед вот этой далью. Так бы и съел ее, каналью!

Мы согласились кротко, кивком подбородка, как вдруг он разразился:

— И на кой черт пришло ему в голову наплодить в таком краю этих скотов! Он, разумеется, прав. Он знает, что делает, надо верить... но я бы предпочел, признаться, чтобы он оказался неправ и чтобы мои прихожане жили у черта, где угодно, у инков или у падишаха,— место найдут, лишь бы не тут!

Мы ему сказали:

— Шамай, они везде одинаковы. Не эти, так другие! К чему менять?

— Видно,— продолжал Шамай,— они созданы не для того, чтобы я их спасал, а для моего спасения, чтобы я еще на земле искупил свои грехи. Согласитесь, кумовья мои, согласитесь, что нет паскуднее ремесла, чем ремесло сельского кюре, который силится внедрить истины божии этим жалким тупицам в их башки толстокожие. Сколько ни питай их соком Евангелия и ни суй их малышам титьку Катехизиса,— едва они хлебнут молока, оно у них выходит через нос; этим широким глоткам нужен корм попроще. Они вам пожуют «Отче наш», поворочают во рту молитву или споют, чтобы послушать собственное блеяние, вечернюю с повечерием, но ни одно из благодатных слов не переступит паперти их прожорливых ртов. Ни в сердце, ни в

желудок не попадает ничего. Они такие же язычники, как были до того. Напрасно, век за веком, мы искореняем в полях, ручьях, лесах духов и фей; напрасно мы силимся задуть, надсаживая щеки и грудь, силимся вновь и вновь загасить эти адские огни, дабы в потемневшей ночи вселенной виден был только свет истинного бога; нам так и не удается истребить эти исчадия земли, эти грязные суеверия, эту душу вещества. В старых дубовых пнях, в черных камнях-вертунах по-прежнему гнездится это сатанинское отродье. А ведь сколько мы его били, рубили, жгли, толкли, выкапывали из земли! Надо бы вывернуть каждую кочку, каждый камень, всю нашу галльскую землю-мать, чтобы всех этих дьяволов из нее изгнать. Да оно и ни к чему. Это проклятая Природа выскальзывает у вас из рук; вы ей отрубите лапы, у нее отрастают крылья. Одного бога убьете, их народится десять. Все — бог, все — дьявол для этих болванов. Они верят в оборотней, в белую лошадь без головы и в черную курицу, в человечьего змея, в домового и в вещих уток... Скажите мне на милость, на что будет похож среди всех этих косолапых чудовищ, сбежавших из Ноева ковчега, кроткий сын Марии и набожного плотника!

Мэтр Пайар отвечал:

— Кум, «видишь глаз чужой, да не видишь свой». Твои прихожане не в своем уме, ты прав. Но сам-то ты рассудком разве более здрав? Не тебе говорить, кюре; ты поступаешь совершенно так же, как они. Чем твои святые лучше их домовых и фей? Мало было завести одного бога втроем, или троих в одном, и богиню-мать, надо было еще поселить в ваших пантеонах кучу божков в юбках и панталонах, чтобы заменить сокрушенных в нишах опустошенных. Но эти

боги, нет, ей-богу, не стоят прежних. Невесть откуда они берутся; они лезут отовсюду, как улитки, нескладные, худородные, паршивые, убогие, неумытые, покрытые язвами и шишками, снедаемые вшами; один выставляет напоказ кровоточащий обрубок или на бедре у себя глянцевитую болячку; другой кокетливо носит загнанную ему в загривок плаху; этот разгуливает с головой под мышкой; тот торжественно держит в пальцах собственную кожу и потряхивает ею, как сорочкой. И, чтобы не ходить далеко, что нам сказать, кюре, про твоего святого, про того, который царит у тебя в церкви, про Симеона Столпника, того, что сорок лет простоял на одной ноге на своем столпе наподобие цапли?

Шамай подскочил и воскликнул:

— Стой! стой! Другие святые еще куда ни шло. Мне их оберегать не поручено. Но этот, язычник ты этакий, это мой, я у него в доме. Мой друг, будь вежлив!

— Ладно (я твой гость), пусть твоя птица торчит себе, поджав ногу; но скажи ты мне, что ты думаешь о корбиньийском аббате, который утверждает, будто у него в бутылке хранится млеко пресвятой девы; и скажи мне свое мнение о господине де Сермизеле, который однажды, когда у него случился понос, поставил себе клистер из святой воды с прахом от мощей!

— А думаю я то,— сказал Шамай,— что сам ты, который сейчас смеешься, если бы у тебя болел задний проход, поступил бы, пожалуй, так же, как и тот. Что же касается корбиньийского аббата, то все эти монахи, чтобы отбить у нас покупателей, готовы торговать, если бы могли, ангельским молоком, архангельскими сливками и серафимьим маслом. Ты

мне про них не говори! Монах и кюре — это собака н кошка.

— Так ты, кюре, не верншь в эти мощн?

— Нет, в нх мощн не верю, я верю в свои. У меня есть плечевой отросток лопатки святой Днетрнны, который лишавым просветляет мочу и цвет лица. И у меня есть теменная кость святого Паклия, которая нзгоняет бесов нз бараньнх жнвотов... Нельзя лн не смеяться? Ты скалншь зубы, нехрнсть? Так ты ни во что не веришь? У меня имеются грамоты (слепец, кто усомнился бы! Я за ними схожу), на пергаменте и за подписом; ты убедншься, убедншься в их подлннности!

— Сиди, сиди и оставь свои бумаги. Ты и сам в них не веришь, Шамай, у тебя нос шевелится... Чья бы она нн была, откуда бы она нн взялась, кость всегда будет кость, и кто ей поклоняется — идолопоклонник. Всякой вещн свое место; мертвых — на кладбнще! Я так верю в живых, верю тому, что сейчас день, что я пью н рассуждаю,— и рассуждаю превосходно,— что двэжды два четыре, что земля есть неподвижное светнло, затерянное средн вращающегося пространства; я верю в Ги Кокнля и могу прочесть тебе, еслн хочешь, нанзусть Свод обычаев нашего Неверского края; я верю также в кннгн, где капля за каплей процежнваются человеческие знанне и человеческнй опыт; но прежде всего я верю в свой разум. И (само собой разумеется) верю также в Священное писанне. Нет благомыслящего человека, который бы в нем сомневался. Доволен ли ты, кюре?

— Нет, недоволен! — воскликнул Шамай, рассерженный не на шутку.— Или ты кальвннист, еретнк, гугенот, который бормочет себе Бнблню, поучает ма-

терь свою церковь и полагает (гадючье племя!), что может обходиться без кюре?

Тут озлился и мой Пайар, протестуя против того, чтобы его называли протестантом, заявляя, что он добрый француз, правоверный католик, но человек разумный, у которого на месте и мозги и кулаки, который видит днем и без очков, который зовет дурака дураком, а Шамайя — тремя дураками в одном лице или одним в трех лицах (как ему угодно) и который, чтобы уважить бога, уважает свой разум, великого светоча прекраснейший луч.

На этом они замолкли и стали пить, ворча и хмурясь, опершись локтями на стол и сев друг к другу спиной. Я расхохотался. Тогда они заметили, что я ничего еще не сказал, и сам я это заметил. Я их все время наблюдал и слушал, забавляясь их спором, передразнивая их глазами и лицом, повторяя про себя их слова, бесшумно шевеля ртом, как кролик, жующий капусту. Но остервенелые спорщики потребовали, чтобы я заявил, с кем из них я согласен. Я отвечал:

— С обоими и еще кое с кем. Разве мало охотников порассуждать? Чем больше соберется дураков, тем смешнее; а чем больше смеха, тем больше мудрости. Друзья мои, когда вы желаете узнать, что у вас имеется, вы выписываете на бумаге все свои цифры: затем вы их складываете. Почему бы вам не сложить вместе все ваши враки? Быть может, в итоге получится истина. Истина вам кажет кукиш, когда вы хотите прибрать ее к рукам. У вселенной, дети мои, имеется не одно объяснение: ибо каждое из них объясняет лишь одну сторону вопроса. Я согласен со всеми вашими богами, и языческими, и христианскими, и с богом-разумом, кроме того.

При этих словах оба они, объединясь против меня, гневно заявили, что я пирроник и безбожник.

— Безбожник! Чего вам надо? Чего вы от меия хотите? Ваш бог или ваши боги, ваш закон или ваши законы желают пожаловать ко мне? Милости прошу! Я их приму. Я принимаю всех, я человек радушный. Господь бог мне очень нравится, а его святые и еще того больше. Я их люблю, я их чту, я им рад всегда; и они (это люди добрые) охотно заходят ко мне покалякать иногда. Но, если уж говорить откровенно, одного бога, сознаюсь вам, мне мало. Что поделаешь. Я человек жадный... а меня сажают иа диету! У меня есть мои святые угодники и святые угодницы, мои феи и духи, воздушные, земные, лесные и водные; я верю в разум; верю также в безумцев, которые видят истину; и верю в колдунов. Мне нравится думать, что подвешенная земля качается в облаках, и мне хотелось бы потрогать, разобрать и снова собрать весь чудесный механизм мировых часов. Но это не значит, что я не люблю слушать пение сверчков далеких, звезд круглооких и разглядывать иа луне человека с фонарем... Вы пожимаете плечами? Вы за порядок. Что ж, порядок вещь хорошая! Но даром ои не дается, за него приходится платить. Порядок — это значит не делать того, что хочется, и делать то, чего не хочется. Это значит выколоть себе один глаз, чтобы лучше видеть другим. Это значит рубить леса, чтобы прокладывать длинные, прямые дороги. Это удобно, удобно... Но, боже мой, до чего это иекрасиво! Я старый галл: много вождей, много законов, все — братья, и каждый сам по себе. Верь, если хочешь, и предоставь мне не верить, если я хочу, или верить. Чти разум. А главное, мой друг, не трогай богов! Ими кишит, ими дождит

сверху, сннзу, над головамн и под ногамн; мнр от ннх вздут, как супоросъ. Я уважаю нх всех. И я вам разрешаю преподнестн мне еще. Но самн вы не отберете у меня нн еднного и не подобьете меня его уволнть: разве что мошенннк стал бы уж слншком злоупотреблять моим легковернем.

Сжалнвшнсь надо мной, Пайар и кюре спроснли, как это я разбнраю дорогу посредн такого кавардака.

— Я разбнраю ее отлнчно,— отвечал я.— Каждая тропинка мне знакома, я по ннм хожу, как дома. Когда я нду лесом один из Шаму в Везлэ, неужелн, по-вашему, мне нужна проезжая дорога? Я хожу туда н обратно с закрытыми глазами, по браньерскнм тропкам; и если я, может быть, и прихожу последннм, зато я прнношу домой набитый ягдташ. В нем все на своем месте, в порядке, за ярлычком: господь бог в церквн, святые по свонм часовням, феи в полях, разум у меня во лбу. Они ладят велнколепно: у всякого свое дело н свой дом. Ннкакому деспотическому королю онн не подчннены; но, подобно господам бернцам н их конфедератам, все они образуют промеж себя союзные кантоны. Однн послабее, другне посннльнее. Но только на это полагаться нельзя! Иной раз протнв снльных требуются слабые. Разумеется, господь бог сильнее фей. Однако же и ему приходится с ннмн счнтаться. И сам по себе господь бог не снльнее, чем все остальные, вместе взятые. На всякого снльного найдется снльнейшнй, чтобы его съесть. Кто ест, того съедят. Так-то. Меня, вндите лн, не разубеднть, что *самого большого господа бога* еще ннкто не вндел. Он очень далеко, очень высоко, в самой глубнне, в самой вышнне. Как наш государь король. Мы знаем (н слншком хорошо) его людей, управнтелей, нсполни-

телей. А сам он там, у себя в Лувре. Теперешний господь бог, которому молятся ныне, это, так сказать, господин Кончини... Ладно, ты меня не тузи, Шамай! Я скажу, чтобы ты не сердился, что это наш добрый герцог, властитель неверский. Да благословят его небеса! Я его уважаю и люблю. Но перед властителем Лувра он ведет себя смирно, и хорошо делает. Да будет так!

— Да будет так! — сказал Пайар.— Но это не так. Увы, далеко не так! «Когда нет господина, познаешь челядина». С тех пор как умер наш Генрих и королевство перешло в бабьи руки, князья играют им, как прялкой. «Князьям потеха, а нам не до смеха». Эти ворыги удят рыбу в большом садке и расхищают золото и грядущие победы, спящие в сундуках Арсенала, да охранит их господин де Сюлли! Ах, если бы явился мститель, чтобы им изрыгнуть собственную голову вместе с золотом, которого они нажрались!

По этому поводу мы наговорили такого, что было бы неосторожно все это записывать: ибо, напав на этот лад, все мы распелись дружно. Исполнили мы также несколько вариаций на тему о долгополых вельможах, о туфленосных святошах, жирных прелатах и о тунеядцах-монахах. Я должен сказать, что самые лучшие, самые блестящие песнопения импровизировал в данном случае Шамай. И наше трио продолжало идти в такт, каждый из нас как единый глас; когда после падочных мы коснулись припадочных, после лицемеров — всяких изуверов, фанатиков-живоглотов, католиков и гугенотов, всех этих болванов, которые, желая внушить любовь к всевышнему, дубьем и мечом вгоняют ее ближнему! Господь бог не ослятник, чтобы понукать нас палкой. Кто желает

погубить свою душу, пусть себе ее губит! Надо ли еще мучить его и жечь живьем? Господи помилуй, оставьте нас в покое! Пусть всякий живет себе, в нашей Франции, и не мешает жить другим! Последний нечестивец и тот — христианин: ведь бог принял смерть за всех людей. И потом, и наихудший и наилучший, оба они в конце концов жалкие твари: и, сколь ни будь они суровы и горды, они похожи, как две капли воды.

После чего, устав от разговора, мы запели, затянув в три голоса славословие Вакху, единственному богу, насчет которого ни я, ни Пайар, ни кюре не спорили. Шамай заявлял во всеуслышание, что его он предпочитает тем, о которых разглагольствуют в своих проповедях все эти грязные монахи Кальвина и Лютера и прочая шушера. Вакх — это бог, которого признать можно, и достойный уважения, бог происхождения благородного, чисто французского... да что там — христианского, братья мои дорогие: ведь разве Иисус на некоторых старых портретах не изображается иной раз в виде Вакха, попирающего ногами виноградные гроздья? Так выпьем же, други, за нашего искупителя, за нашего христианского Вакха, за нашего улыбчивого Иисуса, чья алая кровь струится по нашим склонам и напояет благоуханием наши виноградники, языки и души и вселяет свой нежный дух, человечный, щедрый и незлобно лукавый, в нашу ясную Францию, со здравым разумом и с кровью здравой!

В этом месте нашей беседы, когда мы содвинули стаканы в честь веселого французского разума, который смеется над всякой крайностью («Мудрец садится посередине»... почему нередко садится наземь),

громкое хлопанье дверей, тяжелые шаги по лестнице, призывание Иисуса и всех святых и бурные подавленные вздохи возвестили нам пришествие госпожи Элоизы Кюре, так звали домоуправительницу, «Кюрихи» тож. Пыхтя и утирая широкое лицо краем передника, она возгласила:

— Ох! Ох! Помогите, господин кюре!

— В чем дело, дуреха? — сердито спросил тот.

— Идут! Идут! Это они!

— Кто это? Эти гусеницы, которые расхаживают по полям крестным ходом? Я тебе сказал, не говори мне об этих язычниках, о моих прихожанах!

— Они вам грозят!

— Мне наплевать. Чем бы это? Жалобой в духовный суд? Пожалуйста! Я готов.

— Ах, господин, если бы только жалобой!

— А чем же тогда? Говори!

— Они там собрались у долговязого Пика и творят, что называется, калабистические знаки и заклинания и поют: «Сбирайтесь, мыши и жуки, со всех полей сбирайтесь и объедать подвал и сад к Шамайю отправляйтесь!»

При этих словах Шамай вскочил:

— О проклятые! В мой сад их жуки! И в мой подвал... Они меня режут! И надо же придумать! О господи, Симеон угодник, помогите вашему кюре!

Напрасно старались мы его успокоить, напрасно смеялись.

— Смейтесь, смейтесь! — кричал он на нас.— Будь вы на моем месте, господа мудрые, вы бы поменьше смеялись. Еще бы! Я бы и сам смеялся, сидя в вашей шкуре: это не шутка! А посмотрел бы я на вас, как бы вы отнеслись к такому известию, готовя корм,

питье и кров для этаких жильцов!.. Жуки! Гадость какая... И мыши!.. Я не желаю! Да ведь здесь хоть голову себе размозжи!

— Полно, чего ты? — сказал я ему.— Ведь ты же кюре? Чего ты боишься? Разговори их заговор! Ведь ты же в двадцать раз больше знаешь, чем твои прихожане! Ведь ты посильнее их будешь!

— Какое там! Ничего я не знаю. Долговязый Пик — малый дошлый. Ах, друзья мои, друзья мои! Ну и новость! Вот разбойники!.. А я-то был так спокоен, так уверен! Ах, ни на что на свете нельзя полагаться. Один бог велик. Что я могу поделать? Я попался! Я в их руках... Элоиза, милая, ступай, беги, скажи им перестать! Я иду, я иду, ничего не попишешь! Ах, мерзавцы! Ну уж когда придет мой черед, у их смертного ложа... А пока (да будет воля...) приходится мне плясать под их дудку!.. Что ж, остается выпить чашу. Я ее выпью. И не такие пивал!..

Он встал. Мы спросили:

— Ты это куда же в конце концов?

— В крестовый поход,— буркнул он,— на жуков.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

БЕЗДЕЛЬНИК, ИЛИ ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ

Апрель

Апрель, дочурка стройненькая весны, девчурка тоненькая, чьи глазки так ясны, я смотрю, как цветут твои маленькие грудки на ветке абрикоса, на белой ветке с острыми розоватыми почками, обласканными свежим утренним лучом, в моем саду, за моим окном. Какое чудесное утро! Какое блаженство думать о том, что будешь жить, что живешь этим днем! Я встаю, я расправлю мои старые руки, в которых я чувствую славную усталость после ожесточенной работы. Последние две недели мои подмастерья и я, чтобы искупить невольное безделье, взвивали стружки под самые небеса, и дерево у нас пело на все голоса. К сожалению, наш рабочий голод прожорливее, чем аппетит заказчиков. Никто ничего не покупает, и еще того меньше торопятся платить по старым заказам; у всех мошна истощена; нет больше крови в кошельках; но есть еще в наших руках и полях; земля хороша, та, из которой я сотворен и на которой живу (это одна и та же). «Молитвой и трудом станешь королем». Все они короли, люди нашей земли, или станут ими понемногу, честное слово, ей-богу, потому что я слышу, сегодня с утра, как шумят мельницы на реке, как кузнечный мех скрипит невдалеке, на наковальнях молотки звенят веселым плясом, на досках резаки рубят кости с мясом, как лошадь фыркает и пьет, как сапожник постукивает и поет, грохот колес на дороге, стук башмаков многоногий, щелканье бичей, трескот-

ню прохожих, гомон голосов, звон колоколов — словом, дыхание города на работе, в трудовом поте: «Отче наш, мы месим себе хлеб насущный, пока ты нам его дашь: так оно верней...» А над моей головой — ясное небо весны голубой, где проносятся белые облака, горячее солнце и свежесть ветерка. И словно... воскресает молодость! Она стремит ко мне полет из глубины времен и в старом сердце, в том, что ждет, опять гнездо былое вьет. Милая беглянка, как ее любишь, когда она вернется вновь! Куда больше, куда лучше, чем в первый день, эта любовь...

Тут, я слышу, скрипит флюгарка на крыше, и моя старуха резким голосом кричит кому-то что-то, быть может, мне. (Мне слушать неохота.) Но вспугнутая молодость упорхнула. Черт бы побрал флюгарку... А она вне себя (я говорю про мою старуху) спускается ко мне, и у меня возле барабанной перепонки раздается голос звонкий:

— Что ты тут делаешь сложа руки, зевая воронам вслед, несчастный дармоед, разинув рот шире ворот? Ты пугаешь птиц небесных. Чего ты ждешь? Чтобы тебе упал в глотку жареный чиж или наплакал стриж? А я тем временем вожусь, тружусь, стараюсь, убиваюсь, работаю в седьмом поту, чтобы служить этому скоту!.. Небось, слабая женщина, таков твой удел!.. Так вот нет же, нет, потому что бог не велел, чтобы нам доставался весь труд, а чтобы Адам шатался и там и тут, заложив руки за спину. Я хочу, чтобы и он тоже страдал, и хочу, чтобы ему было тяжело. А иначе, если бы было весело, прощелыге, было бы отчего разувериться в боге! К счастью, имеюсь я, чтобы исполнять его святую волю. Перестанешь ты смеяться? За работу, если хочешь, чтобы кипел гор-

шок!.. Извольте видеть, как он меня слушает! Да сдвинешься ли ты с места?

Я отвечаю с мягкой улыбкой:

— Сдвинусь, красавица. Грех было бы сидеть дома в этакое утро.

Я вхожу в мастерскую, кричу подмастерьям:

— Мне нужен, друзья мои, кусок дерева, упругий, нежный и плотный. Я схожу к Риу посмотреть, нет ли у него на складе хорошенькой трехдюймовой доски. Гоп! Канья! Робине! Пойдемте выбирать!

Мы с ними выходим. Старуха моя кричит. Я ей говорю:

— Пой на здоровье!

Можно было и не давать такого совета. Ну и музыка! Я стал насвистывать, чтобы вышло звучнее. Добряк Канья говорит:

— Что вы, хозяйка! Можно подумать, что мы отправляемся путешествовать. Через каких-нибудь четверть часика мы будем дома.

— С этаким разбойником,— сказала она,— кто может поручиться?

Било девять часов. Мы направлялись в Бейан, путь туда недолгий. Но на Бевронском мосту останавливаешься мимоходом (надо же осведомиться о здоровье, встречаясь с народом), приветствуешь Фетю, Гадена и Тренке, по прозвищу Жан-Красавец, которые начинают свой день, сидя на плотине и глядя, как течет вода. Беседуешь минутку о том, о сем. Затем мы двигаемся дальше, честь честью. Мы люди совестливые, идем прямой дорогой, ни с кем не заговариваем (правда, навстречу нам никто не попадается). Но только (человек чувствителен к красотам природы) залюбуешься небом, весенними побегами, яблоней в

цвету, возле стен, во рву, заглядишься на ласточку, постоишь, поспоришь, откуда ветер...

На полдороге я спохватываюсь, что еще не поцеловал сегодня моей Глоди. Я говорю:

— Вы себе ступайте. Я сделаю крюк. У Риу я вас настигну.

Когда я подходил, Мартина, моя дочь, мыла свою лавку, не жалея воды и не переставая тараторить, тараторить и тараторить то с одним, то с другим, с мужем, с мальчишками, с подручным и с Глоди, да еще с двумя-тремя соседками, с которыми она хохотала до слез, не переставая тараторить, тараторить и тараторить. А когда она кончила — не тараторить, а мыть,— она вышла и выплеснула ведро на улицу, со всего размаха. Я остановился было в нескольких шагах, чтобы ею полюбоваться (она мне радует глаза и душу, что за кусочек!), и половина ведра угодила мне в ноги. Она расхохоталась пуще прежнего, а я еще громче, чем она. Ах, эта галльская красавица, смеющаяся мне в лицо, с черными волосами, которые пожирают ей лоб, густыми бровями, горячими глазами и губами еще того горячее, красными, как угли, и пухлыми, как сливы! Плечи и руки у нее были голые, а подол дерзко подоткнут. Она сказала:

— В добрый час! Тебе, что же, досталось все?

Я отвечал:

— Почти что так; но я воды не боюсь, лишь бы не требовалось ее пить.

— Входи,— сказала она,— Ной, спасшийся от потопа, Ной-виноградарь.

Я вошел, увидел Глоди в короткой юбочке, примостившуюся под прилавком.

— Здравствуй, маленькая булочница!

— Готова биться об заклад,— сказала Мартина,— что я знаю, почему ты так рано ушел сегодня из дому.

— Ты можешь не бояться проигрыша, тебе причину знать легко, ты сосала ее молоко.

— Так это мать?

— А то кто же?

— Какие трусы эти мужчины!

Флоримон, который как раз входил, принял это на свой счет. Он напустил на себя оскорбленный вид. Я ему сказал:

— Это мне. Не обижайся, юноша!

— Хватит на обоих,— сказала она,— не будь таким жадным.

Тот изображал по-прежнему уязвленное достоинство. Это настоящий буржуа; он не допускает, чтобы над ним можно было посмеяться; и когда он видит нас вдвоем, меня с Мартиной, он настораживается, он с недоверчивым взглядом ждет, какие слова издаст наш смеющийся рот. Ах, бедные мы! Каких только козней нам не приписывают!

Я сказал с невинным видом:

— Ты шутишь, Мартина; я знаю, Флоримон в своем доме хозяин; он не даст себя оседлать, как я. К тому же и его Флоримонда тиха, смиренна, покорна, воли у нее нет, ни слова не скажет в ответ. Эта славная девушка вся в меня, который всегда был человеком робким, послушным и забитым!

— Да перестанешь ли ты издеваться над людьми! — воскликнула Мартина, стоя на коленях и наново протирая (уж я тру, тру, тру) с остервенелой радостью оконные стекла.

И за этой работой (она работала, а я смотрел) мы перекидывались славными и сочными словечками.

В глубине лавки, которую Мартина наполняла своим движением, своей речью, своей сильной жизнью, сидел, забившись в угол Флоримон, недовольный и хмурый, обиженной фигурой. В нашем обществе ему всегда не по себе; он пугается смелых шуток, ядреных галльских прибауток; они задевают его достоинство; ему непонятно, что можно смеяться от здоровья. Человек он маленький, бледненький, худенький и угрюмый; вечно на все жалуется; ему кажется, что все плохо, должно быть, потому, что он ничего, кроме себя, не видит. Обмотав полотенцем свою цыплячью шею, он сидел с беспокойным лицом и ворочал глазами то вправо, то влево; наконец, он сказал:

— Здесь дует со всех сторон, как на башне. Все окна отворены.

Мартина, не оборачиваясь, ответила:

— Вот тоже! А мне так душно.

Некоторое время Флоримон терпел на своем стуле... (Сквозняк, по правде говоря, стоял такой, что хоть куда...) И вылетел пулей. Моя молодка, не вставая с колен, подняла голову и сказала, добродушно и весело подтрунивая:

— Он опять залезет в печь.

Я спросил ее лукаво, по-прежнему ли она ладит со своим пекарем. Она, разумеется, не стала говорить, что нет. Вот упрямая плутовка! Хоть на куски ее разрежь, она никогда не сознается в ошибке.

— А почему бы мне с ним не ладить? — сказала она.— Он мне весьма по вкусу.

— Я-то поел бы,— говорю.— Но у тебя рот большой, маленький пирожок на один глоток.

— Надо довольствоваться тем, что есть,— отвечала она.

— Хорошо сказано. И все-таки будь я на месте пирожка, я чувствовал бы себя, признаться, не очень-то спокойно.

— Почему? Ему бояться нечего, я торговец честный. Но чтобы и он им был! А иначе ему сказано: если он мошенник, вздумает меня обмануть, не пройдет и дня, как я наставлю ему рога. Всякому свое добро. Ему его, а мне мое. Поэтому пусть он исполняет свой долг!

— И до конца.

— А то как же! Посмей он у меня жаловаться, что наша госпожа слишком хороша!

— Ах, чертовка, я вижу, как в книге, это ты отвечала сарыге, когда она принесла небесный приказ.

— Я знаю много сарычей,— сказала она,— но только бесперых. Ты о котором говоришь?

— Разве ты не слышала, говорю, рассказа про сарыгу, которую кумушки послали к господу богу просить его, чтобы их крошки, чуть народясь, становились на ножки? Господь сказал: «Извольте». (Он с дамами любезен.) «За это я требую от моих дорогих прихожанок только одного: чтобы отныне под простыни дамы и девицы ложились одни». Сарыга покинула господень дом, небесный приказ неся под крылом; сам я там не был, помешали дела, когда она его принесла; но я слышал, что вестнице не поздоровилось!

Мартина, сидя на корточках, перестала тереть и разразилась громким хохотом; потом принялась меня тормошить, крича:

— Старый болтун! Как ветряная мельница, трещит, тараторит, не ленится! Пошел отсюда, пошел прочь! Пустослов несчастный! Ну, на что ты годен,

скажи? На то, чтобы у людей время отнимать! Ну, проваливай! И, кстати, забери-ка с собой эту собачонку бесхвостую, которая путается у меня в ногах, твою Глоди, вот эту самую, которую опять выпроводили из пекарни, где она уж, конечно, запустила лапы в тесто (ишь, даже нос измазала). Брысь оба, оставьте нас в покое, уроды вы этакие, не мешайте нам работать, не то я возьму швабру...

Она выставила нас за дверь. Мы отправились вдвоем, весьма довольные; мы пошли к Риу. Но на берегу Ионны мы сделали маленькую остановку. Смотрели, как удят рыбу. Давали советы. И очень радовались, когда нырял поплавок или из зеленого зеркала выскакивала уклейка. Но Глоди, увидав на крючке червя, который корчился от смеха, сказала мне с недовольной гримаской:

— Дедушка, ему больно, его съедят.

— Ну да, милая моя,— отвечал я,— конечно! Быть съеденным не очень приятно. Не надо об этом думать. Думай лучше о том, кто его съест, о красивой рыбке. Она скажет: «Это вкусно!»

— А если бы тебя съели, дедушка?

— Ну что же, я бы тоже сказал: «Ну и вкусный же я! Вот счастливчик! И везет же мошеннику, который меня ест!» Вот так-то, видишь ли, мой свет, всегда и доволен твой старый дед. Мы ли едим, нас ли едят, на все надо иметь веселый взгляд. У нас в Бургундии не знают мерлихлюндии.

Так беседуя, мы очутились (еще не было одиннадцати часов), сами того не заметив, у Риу. Канья и Робине меня поджидали, но мирно, развалясь на берегу; и Робине, запасшийся терпением и удочкой, дразнил пескарей.

Я вошел в сарай. Стоит мне очутиться посреди красивых стволов, которые лежат, раздетые догола, и почуять свежий запах опилок, честное слово, время и воды могут течь, сколько им угодно. Я готов без устали щупать эти бока. Для меня дерево милее женщины. У всякого своя страсть. Это ничего, что я знаю заранее, которое из них я хочу и возьму. Если бы я был в Турции и увидел на базаре свою любимую посреди дюжины красивых обнаженных девушек, неужели вы думаете, что моя любовь к милой помешала бы мне, мимоходом, вкусить глазами прелести остального стада? Я не так глуп! На то ли бог дал мне глаза, жадные к красоте, чтобы, когда она является, я стал их закрывать? Нет, они у меня отворены шире ворот. Все туда входит, ничто не ускользнет. И подобно тому, как под кожей у хитрых женщин я умею, старый плут, угадывать их желания и тайну их мысли, лукавой и опасной, так и под корою моих деревьев, шершавой и атласной, я умею распознавать их сокрытую душу, которая вылупится из яйца,— если я пожелаю ее высидеть.

Пока я собираюсь пожелать, Канья, которому не сидится (это живоглот; только мы, старики, умеем смаковать), переругивается со сплавщиками, которые шатаются на том берегу Ионны или торчат на Бейанском мосту. Ибо если в наших предместьях птицы и разные, то обычай у них один: вкопавшись задом в перила, сидеть весь день на мостах или промачивать горло в злачных местах. Разговор — так уж принято — между сынами Беврона и сынами Вифлеема состоит из прибауток. Господа иудеи величают нас мужиками, бургундскими улитками и дармоедами. А мы отвечаем на эти любезности, называя их «лягвами» и

щучьими рылами. Я говорю — мы, потому что, когда слышу молитвословия, не могу не вставить и сам: «Господи, помилуй!» Просто из вежливости. Когда к вам обращаются, надо ответить. После того как мы учтиво обменялись кое-какими ласковыми выражениями (что это, никак уже полдень звонят? Я даже вздрагиваю. Вот так так! Ну, брат Время, дружок, и бежит же у тебя песок!), я прошу наших добрых сплавщиков, во-первых, помочь Канья и Робине нагрузить мою тележку и, во-вторых, отвезти ее в Беврон вместе с деревом, которое я выбрал. Они во все горло трубят:

— Чертов Брюньон! Ты, однако, не стесняешься!

И все-таки слушаются, хотя и трубят. Они меня любят.

Возвращались мы вскачь. Люди, стоя в дверях, смотрели нам вслед, восхищаясь нашим усердием. Но, когда моя упряжка вкатила на Бевронский мост и мы застали всех трех воробьев, Фетю, Гадена и Тренке, по-прежнему созерцающими течение вод, ноги остановились, а языки пустились во всю прыть. Эти поносили тех за то, что они что-то делают. Те поносили этих за то, что они ничего не делают. Певцы перебрали весь свой репертуар. А я сидел на тумбе и мирно ждал конца, чтобы увенчать победой лучшего певца. Как вдруг слышу над самым ухом:

— Разбойник! Наконец-то пожаловал! Изволь-ка рассказать, где это ты коротал время с девяти часов между Бевроном и Бейаном? У, лодырь! Вот уж горе с тобой! Когда бы ты воротился, если бы я тебя не поймала? Домой, злодей! У меня обед сгорел.

Я сказал:

— Первый приз тебе. Друзья мои, уймите языки: по части пения вы перед ней щенки.

Моя похвала только усугубила ее тщеславие. Она угостила нас еще одной арией. Мы воскликнули:

— Браво! А теперь идем домой! Ступай вперед! Я за тобой.

Итак, жена моя пошла домой, ведя за руку мою Глоди и сопутствуемая обоими подмастерьями. Покорно, хоть и не торопясь, я собирался поступить так же, как вдруг из вышнего города хлынули радостный гул голосов, звуки рогов и веселый трезвон святого Мартына, так что я, старая ищейка, повел носом, чуя новое зрелище. Это была свадьба господина д'Амази и мадемуазель Люкрес де Шампо, дочери сборщика податей и пошлин.

Чтоб увидеть свадебное шествие, все мигом схватили ноги в охапку и кинулись в гору, к замковой площади. Нечего и говорить, что не я бежал позади всех! Такая удача не каждый день выдается. Только Тренке, Гаден и Фетю, празднолюбцы, не соблаговолили отвинтить свои зады от плотины у воды, заявив, что они, обитатели предместий, господам из башни не окажут этой чести. Слов нет, гордость я люблю, и самолюбие — прекрасная вещь! Но жертвовать ему своим развлечением... слуга покорный, какая же это любовь к себе! Это вроде любви кюре, который в детстве меня сек для моего, дескать, блага, добрый человек.

Хоть я и проглотил единым духом лестницу в тридцать шесть ступеней, которая ведет к святому Мартыну, я поспел на площадь (вот несчастье!), когда свадьба уже вошла в церковь. Что тут делать — необходимо было подождать, пока она выйдет. Но эти проклятые кюре могут слушать свое пение без конца. Чтобы убить время, я кое-как проник, немало попотев,

в церковь, вежливенько протискиваясь между снисходительных животов и мясистых задов; но в притворе меня облегла людская перина, и я оказался, как в постели, в тепле и в пуху. Если бы не святость храма, у меня бы возникли, должен сознаться, игривые мысли. Но надо быть серьезным, всему свое время и место; и, когда нужно, я умею быть степенным, как осел. Но иной раз случается, что высунется кончик уха и осел ревнет. Так случилось и тут, ибо, когда я созерцал, смиренно и благоговейно, разинув рот, чтобы лучше видеть, радостное жертвоприношение целомудренной Люкрес господину д'Амази, четыре охотничьих рога — святой Губерт свидетель — затрубили, сопровождая богослужение, в честь охотника; не хватало только собак; а очень жалко! Я поборол смех; но, разумеется, не удержался от того, чтобы не просвистеть (тихонечко) напев. Но вот наступило роковое мгновение, когда на опрос любопытного кюре невеста отвечает «да»; надутые щеки лихо затрубили поимку; тут я не выдержал и крикнул:

— Улюлю!

Вы себе представляете, какой поднялся смех! Но приблизился швейцар, хмуря брови. Я съежился и, крадучись сквозь гущу бедер, вышел вон.

Я очутился на площади. Компания там подобралась достаточная. Все, как и я, люди почтенные, которые глазами умеют видеть, ушами переваривать то, что проглотили чужие глаза, а языком рассказывать, благо говорить можно не только о том, что видел сам. Ну, и дал же я себе волю!.. Чтобы складно врать, незачем являться из дальних стран. Таким образом, время пролетело быстро, во всяком случае, для меня, пока не распахнулись снова церковные двери под гром

органов. Показалась охота. Впереди победоносно шествовал д'Амази, ведя под руку пойманную дичь, которая жеманно постреливала по сторонам своими красивыми глазами серны... Да, я рад, что не мне стеречь красавицу! Кто пустился с нею в пляс, напляшется. Кто добыл зверя, добыл и рога...

Но толком я не разглядел ни охотников, ни дичи, ни стрелка, ни добычи и не смог бы даже описать (хвастать тут нечем), какого цвета был наряд у барина и платье у молодой. Ибо в эту самую минуту наши умы и наше внимание поглотил важный вопрос о порядке шествия и о старшинстве участвующих в нем особ. Уже — как мне сказали,— когда они входили (ах, отчего меня при этом не было!), окружной судья, он же прокурор, и господин старшина, он же городской голова, столкнулись на пороге, как два барана. Но голова, будучи толще и сильнее, прошел вперед. Теперь спрашивалось, кто из них выйдет первый и первый покажет нос на божьей паперти. Мы ставили заклады. Но никто не показывался: как у разрубленной змеи, голова шествия двигалась вперед, а тело вылезать не хотело. Наконец, подойдя к церкви ближе, мы увидели, внутри, возле дверей, друг против дружки, этих разъяренных зверей, из которых каждый не давал прохода сопернику. А так как в святом месте они не смели кричать, то видно было только, как они шевелят носом и губами, пучат глаза, пыжатся, хмурят лоб, пыхтят, надуваются, и все это без единого звука. Мы держались за животики; и, споря и гуторя, мы тоже разделились, кто за кого. Люди пожилые — за судью, представителя господина герцога (кто желает почета для себя, тот требует почета и к другим); молодые петухи — за нашего голову, поборника наших воль-

ностей. Я стоял за того, на чьей стороне будет торжество. И народ кричал, подзадоривая каждый своего:

— Ну, ну вали, мосье Грассе! Укуси его за гребешок, господин Пето! Так, так, заткни ему глотку! Ну-ка, смелей, лошадушка!..

Но эти клячи только фыркали от ярости друг другу в нос и рук в дело не пускали, боясь, должно быть, помять свои красивые наряды. Таким образом, препирательство грозило затянуться до бесконечности (потому что языки-то у них не отсохли бы), если бы не господин кюре, который начал бояться, что опоздает к обеду. Он сказал:

— Возлюбленные чада, господь вас слышит все равно, а обед подан давно, ни в коем случае не след опаздывать на обед и нашей злобой беспокоить бога у его святого порога. Белье постираем и дома.

Если он этого и не сказал (я не слышал слов), то смысл, надо полагать, был таков, ибо в конце концов его толстые руки схватили обе морды за загривки и сблизили их для мирного лобзания. После чего они вышли, но рядком, подпирая с обеих сторон, подобно двум столпам, живот кюре. Вместо двух хозяев оказалось трое. Когда хозяева ссорятся, народ всегда в выигрыше.

Все они проследовали мимо и вернулись в замок есть обед, вполне ими заработанный; а мы, дураки, остались, разинув рты, на площади, вокруг невидимой чугунки, вдыхая запах и глотая слюнки. Для вящего удовлетворения я просил перечислить мне блюда. Нас было трое чревоугодников: почтенный Трипе, Бодеке и Брюньон, здесь присутствующий, и при каждом блю-

де, которое нам называли, мы переглядывались, смеясь, и подталкивали друг друга локтем. Одно блюдо мы одобряли, насчет другого вступали в обсуждение: можно было сделать лучше, если бы посоветоваться с людьми опытными, вроде нас; но в сущности ни грамматических ошибок, ни смертных грехов; и в общем обед был весьма почтенный. По поводу некоего заячьего рагу всякий изложил свой рецепт; слушатели также вставили по словечку. Но вскоре на этой почве загорелся спор (это вопросы жгучие; надо быть дурным человеком, чтобы говорить о них спокойно и хладнокровно). Особенно был он оживлен между госпожами Перриной и Жакоттой, соперницами, задающими у нас в городе большие обеды. У каждой из них имеется своя партия, и каждая из этих партий стремится затмить другую, за столом. Это бывают доблестные состязания. В наших городах хорошие обеды — это обывательские турниры. Но я хоть и лаком до смачных споров, для меня нет ничего утомительнее, чем слушать про чужие подвиги, если я сам бездействую; и не такой я человек, чтобы долго питаться соком собственной мысли и тенью блюд, которых я не ем. Поэтому я обрадовался, когда почтенный Трипе мне сказал (бедняга тоже мучился!):

— Когда слишком долго рассуждаешь о кухне, то становишься, Брюньон, как любовник, который слишком много говорит о любви. Я, знаешь, больше не могу, я прямо-таки погибаю, дружище, я горю, я пылаю, и внутренности мои дымятся. Пойдем-ка их залить и покормить зверя, который гложет мне утробу.

— Мы с ним управимся,— сказал я.— Положись на меня. Против болезни голода лучшее лекарство — это еда, сказал некто в древности.

Мы отправились вдвоем на угол Большой улицы, гостиницу Гербов Франции и Дорфина: потому что никто из нас не помышлял о том, чтобы идти домой в третьем часу дня; Трипе, как и я, побоялся бы застать суп холодным, а жену кипящей. День был рыночный, комната была набита битком. Но если в одиночестве, на просторе за столом, лучше бывает есть, то в давке, в гуще добрых товарищей, лучше ется, так что всегда все очень хорошо.

На некоторое время мы приумолкли, беседуя лишь in petto[1], то есть сердцем и челюстями, с некоей свежепросольной свининкой в капусте, которая благоухала и таяла, розовая и нежная. К сему кружка вина, чтобы спала с очей пелена, ибо есть и не пить, как говорят наши старики, слепым быть. После чего, прочистив зрение и промыв гортань, я снова мог заняться созерцанием людей и жизни, которые всегда кажутся краше, когда поешь.

За соседним столом кюре из ближних мест сидел против престарелой фермерши, которая к нему так и ластилась: она нагибалась к нему, вела какие-то речи, вбирая голову в черепашьи плечи, выворачивая ее вбок и умильно выкатывая на него глазок, словно на исповеди. А кюре внимал ей тоже бочком, благосклонно, и, не слушая, на каждый поклон вежливо отвечал поклоном, не переставая при этом глотать, и словно говорил: «Хорошо, дочь моя, absolvo[2]. Все грехи тебе отпущены. Ибо господь благ. Я хорошо пообедал. Ибо господь благ. И эта черная колбаса тоже».

---

[1] Про себя (*итал.*).

[2] Отпускаю тебе (*лат.*).

Немного дальше наш нотариус мэтр Пьер Делаво, угощавший коллегу, говорил о договорах, о свидетелях, о политике, о добродетелях, о деньгах, о публике, о римской республике (он республиканец в латинских стихах; но в жизни — за мудрость его хвалю — он верный слуга королю).

А в самой глубине мой блуждающий взор обнаружил Перрена-повара, в синей блузе, туго накрахмаленной, Перрена из Корволь-л'Оргелье, и так как взгляды наши встретились, то он издал голос, встал с места и окликнул меня. (Я готов побожиться, хоть и грешно, что он заметил меня давно; но хитрый вор отвращал свой взор, потому что должен мне, вот уже два года, за два ореховых комода.) Он подошел ко мне, поднес мне стакан:

— Всем сердцем, всем сердцем приветствую вас...[1]

...Поднес мне второй:

— Чтобы не сбиться с прямого пути, на обеих ногах нужно идти...

...Предложил мне разделить с ним трапезу. Он надеялся, что так как я уже пообедал, то я откажусь. Я его поддел: я согласился. Хоть этим поживлюсь!

Итак, я начал сначала, но на этот раз спокойнее, не торопясь, потому что можно было уже не бояться голода. Простые едоки, занятой народ, который ест, как скот, только чтобы насытиться, мало-помалу разошлись; и остались одни люди почтенные, люди зрелые и умелые, которые знают цену всему прекрасному, хорошему и доброму и для которых доброе блюдо есть доброе дело. Дверь была отворена, врывались воздух

---

[1] Старинное иародное приветствие при чокаиии за выпивкой.— *Прим. авт.*

и солнце, заходили три черных курочки и, вытянув тугие шеи, поклевывали крошки под столом и лапы старой дремлющей собаке, доносились с улицы женские голоса, крик стекольщика и: «Рыба, свежая, рыба!» — да рев осла, подобный львиному. На пыльной площади два белых вола, запряженные в телегу, лежали неподвижно, подвернув ногу под красивые лоснистые бока и с замусоленными мордами благодушно пожевывали слюну. На крыше, на солнышке, ворковали голуби; и всем нам было так хорошо, что, кажется, погладь нас по спине, мы бы замурлыкали.

Разговор завязался всеобщий, от стола к столу, все были заодно, по-дружески, по-братски: кюре, повар, нотариус, его товарищ и хозяйка с таким нежным именем (ее зовут Бэзла [1], в этом имени заложено обещание; она его исполняет, и даже с лихвой). Чтобы удобнее было беседовать, я переходил от одного к другому, присаживаясь то здесь, то там. Говорили о политике. Для полноты счастья после ужина приятно бывает подумать о бедственных наших временах. Все эти господа стонали о дороговизне, о трудности жизни, о том, что Франция разоряется, что нация опускается, жаловались на правителей, на народных грабителей. Но вполне прилично. Никого не называли лично. У великих мира уши великие; чего доброго, вот-вот — и просунется кончик в дверь. Но так как истина, коварная девчонка, обитает на дне бочонка, то наши приятели, набравшись смелости, начали прохаживаться насчет тех из наших владык, кто был подальше. Особенно обрушивались на итальянцев, на Кончини, на эту вошь, которую флорентийская толстуха,

[1] Baiselat созвучно с «baise-la» (*франц.*) — поцелуй ее.

королева, завезла к нам в своих юбках. Если случится дело такое, что две собаки стянут у тебя жаркое, причем одна из них чужая, а другая своя, то свою турнешь, а чужую убьешь. Из чувства справедливости, из духа противоречия я заявил, что наказать следовало бы не одну собаку, а обеих, что послушать людей, так во Франции никаких других болезней и нет, кроме итальянской, что у нас достаточно, видит бог, и своих недугов и своих пройдох. На что все в один голос ответили, что один итальянский пройдоха стоит троих и что трое честных итальянцев не стоят и трети одного честного француза. Я возразил, что здесь или там, люди повсюду подобны скотам, а скотам цена везде одна; что хорошего человека, откуда бы он ни был, приятно видеть и грех обидеть; что такой человек мне друг дорогой, будь он итальянец или кто другой. Тут все на меня накинулись, издеваясь, говоря, что вкус мой всем известен, и называя меня старым чудаком, Брюньоном-непоседой, пилигримом, скитальцем, натиральщиком дорог... Оно правда, в былое время я этим занимался достаточно. Когда наш добрый герцог, отец теперешнего, послал меня в Манутую и Альбиссолу изучать эмали, фаянс и художественные промыслы, которые мы затем насадили на нашей земле, я не жалел ни дорог, ни собственных ног. Весь путь от святого Мартына до святого Андрея Мантуанского я проделал с палкой в руке, пешком. Приятно видеть, как у тебя под ступнями тянется земля, и разминать миру бока... Но об этом лучше не думать; а не то я пущусь опять... Им смешно! Что поделаешь, я галл, я потомок тех, кто грабил вселенную. «Что же ты награбил? — спрашивают меня и смеются.— И что ты с собой принес?» — «Не меньше, чем они. Полные глаза. Пустые

карманы, это верно. Но набитую голову...» Господи, как хорошо бывает видеть, слышать, вкушать, вспоминать! Все увидеть и все узнать — нельзя, я знаю; но хотя бы все, что возможно! Я — как губка, сосущая Океан. Или, скорее, я пузатая гроздь, спелая, полная до отказу чудесным соком земли. Какое вино получится, если ее выжать! Дудки, дети мои, я его выпью сам! Вы им пренебрегаете. Что ж, тем лучше для меня. Упрашивать я не стану. Было время, мне хотелось поделиться с вами крупицами счастия, которое я собрал всеми моими прекрасными воспоминаниями, о лучезарных странах. Но люди у нас не любопытны, разве что насчет дел соседа или, особенно, соседки. Все остальное слишком далеко, чтобы этому верить. Ступай смотреть сам, если тебе не в труд. С меня довольно того, что тут. «Спереди дыра, сзади дыра, побывавши в Риме, не наживешь добра». Ну и отлично! Говорите, что хотите, я никого не неволю. Раз вам этого не нужно, я буду хранить виденное у себя под веками, в глубине глаз. Не следует принуждать людей к счастию силком. Лучше быть счастливым вместе с ними, на их лад, а потом на свой. Два счастия дороже, чем одно.

Поэтому, зарисовывая украдкой рыльце Делаво, а заодно и кюре, который, разговаривая, хлопает крыльями, я слушаю и подпеваю их песенке, хорошо мне известной: «Какое счастье, боже в небеси, быть гражданином города Кламси!» Еще бы, как же иначе? Это хороший город. Город, создавший меня, не может быть плох. Человеческий куст в нем растет свеж и густ, жирен и мирен, без колючек, не злой, разве что на язычок, который у нас острехонек. А если и позлословишь про ближнего (каковой ответствует тем же), то от этого

ему хуже не будет, а любишь его только крепче и не тронешь на нем ни волоска. Делаво напоминает нам (и мы гордимся, все, даже кюре) о спокойной иронии нашего Неверского края посреди безумств всей остальной страны, о том, как наш старшина Рагон отказался примкнуть к Гюизам, к лиге, к еретикам, к католикам, к Риму и Женеве, к бешеным псам и хищным рысям и как Варфоломеевская ночь умывала у нас свои окровавленные руки. Сплотясь вокруг нашего герцога, мы образовали островок здравого смысла, о который разбивались волны. Покойный герцог Людовик и блаженной памяти король Генрих, о них невозможно говорить без умиления! Как мы любили друг друга! Они были созданы для нас, мы были созданы для них. У них были свои недостатки, разумеется, как и у нас. Но эти недостатки были человечны, они делали их ближе к нам, не такими далекими. Люди говорили посмеиваясь: «Герцог Неверский — повеса зверский!» или: «Год будет урожайный. Ребят будет вдоволь. Король нам еще одного подарил...» Ах, поели мы тогда весь наш белый хлеб! Потому мы и любим поговорить о тех временах. Делаво, как и я, знавал герцога Людовика. Но короля Генриха видел я один и пользуюсь этим, и, не дожидаясь, пока меня попросят, я им рассказываю в сотый раз (для меня это всякий раз — первый, да и для них, надеюсь, если они добрые французы), как я его видел, серого короля, в серой шляпе, в сером платье (локти торчали из дыр), верхом на серой лошади, сероволосого и сероглазого, снаружи все серо, а золотое нутро...

К несчастию, письмоводитель господина нотариуса перебивает меня, чтобы сообщить ему, что умирает клиент и зовет его. Он должен идти, хоть и весьма

сожалеет,— но все-таки сначала награждает нас историйкой, которую готовил уже целый час (я видел, что она вертится у него на языке, но раньше я вставил свою). Не стану спорить, его рассказец был хорош, я очень смеялся. По части побасенок Делаво бесподобен.

Прояснив таким образом ум и взгляд, освежившись и промывшись от глотки до пят, мы вышли все вместе. (Было, должно быть, без четверти пять или около пяти. За три каких-нибудь часа я подцепил, кроме двух хороших обедов и веселых воспоминаний, заказ на два баула, которые просил меня сделать нотариус.) Компания разбрелась, предварительно обмакнув сухарик в рюмку черносмородинной у Ратри, аптекаря. Тут Делаво досказал свою историйку и проводил нас, чтобы послушать еще одну, до Мирандолы, где мы расстались уже окончательно, учинив коротенькую стоянку лицом к стене, чтобы дать ход последним излияниям.

Так как возвращаться домой было слишком поздно и слишком рано, то я спустился в Вифлеем с неким угольщиком, который шел рядом со своей повозкой, трубя в рожок. Возле башни Лурдо навстречу мне попался тележник, который бежал, гоня перед собой колесо; и когда оно замедляло ход, он подпрыгивал и подгонял его ногой. Словно человек, догоняющий колесо Фортуны; и как только он собирается на него вскочить, оно убегает. Я приметил этот образ, чтобы его использовать.

Тем временем я раздумывал о том, как мне лучше возвратиться в мой дом, прямым или кружным путем,

как вдруг увидел выходящую из Пантенора[1] процессию, возглавляемую крестом, который нес, подпирая его животом, словно копье, сорванец ростом с мою ногу, показывая язык второму служке и косясь на кончик своей священной палки. Следом четыре старика с красными и вздутыми руками несли, семеня ногами, усопшего, накрытого простыней, который отправлялся, под крылышком кюре, досыпать свой сон в сырой земле. Из вежливости проводил его и я до его жилья. Все-таки веселей, когда ты не один. Должен сознаться, что присоединился я отчасти, чтобы послушать вдову, которая, как водится, шла рядом со священником, вопя, повествуя о том, как покойник хворал, какие принимал лекарства и как помирал, излагая его достоинства повседневные, его качества телесные и душевные — словом, всю его жизнь и жизнь его благоверной. Ее элегия чередовалась с песнями кюре. Мы шли за ними следом, любопытствуя: ибо понятно само собой, что по пути к нам примыкали, чтобы посочувствовать, добрые души и, чтобы послушать, многие уши. Наконец, прибыв на место назначения, к гостинице тихого упокоения, его поставили в гробу у края разверстой ямы; а так как нищим строгий запрет деревянную рубашку уносить на тот свет (спать не хуже и нагишом), то, сняв простыню и крышку, его вытряхнули в дыру.

Бросив туда ком земли, чтобы заправить ему постель, и осенив его крестным знамением во ограждение от дурных снов, я удалился вполне удовлетворенный: все-то я видел, все-то я слышал, принял участие в радостях, принял участие в горестях; моя котомка была полна.

---

[1] Пантенор — больннца.— *Прим. авт.*

В обратный путь я двинулся берегом. Я рассчитывал, выйдя к слиянию рек, пойти вдоль Беврона прямо домой; но вечер был такой чудесный, что, сам того не заметив, я очутился за городом и направился вдоль чаровницы Ионны, которая завлекала меня до ущелья Ла Форе. Спокойная и гладкая вода струилась без единой складки на своем светлом платье; зрачки не могли оторваться, словно рыба, проглотившая крючок; и небо, подобно мне, было захвачено неводом реки; оно купалось в ней со всеми своими облаками, которые цеплялись, плывя, за травы, за камыши; и солнце омывало в воде свои золотые волосы. Я подсел к старику, который стерег, волоча ногу, двух тощих коров; я осведомился о его здоровье, посоветовал ему надевать на ногу чулок, набитый колючей крапивой (я на досуге занимаюсь врачеванием). Он рассказал мне свою жизнь, свои беды и печали, все это весело; видимо, обиделся, что я дал ему лет на пять меньше, чем ему было на самом деле (а было ему семьдесят пять); этим он гордился, ему льстило, что, прожив дольше других, он больше других претерпел. Ему казалось естественным, чтобы человек терпел, чтобы хорошие страдали вместе с плохими, потому что зато милость небесная расточается равномерно и на плохих и на хороших; таким образом, в конечном счете все одинаково, все хорошо; богатые и бедные, красивые и безобразные, все однажды мирно уснут в объятиях того же отца... И его думы, его голос, трескучий, как сверчки в траве, журчание плотины, запах дерева и дегтя, доносившийся с ветром от пристани, недвижно бегущая вода, красивые отсветы — все сочеталось и сливалось с вечерней тишиной.

Старик ушел, я двинулся домой один, не торопясь,

разглядывая круги, вращавшиеся на воде, и заложив руки за спину. Я был настолько поглощен всеми образами, которые струились вдоль Беврона, что не замечал ни где я, ни куда иду; так что внезапно вздрогнул, услышав, как меня окликает с того берега хорошо знакомый голос. Я, сам того не заметив, оказался напротив собственного моего дома! Из окна моя нежная подруга, моя жена, показывала мне кулак. Я притворился, что не вижу ее никак, уставившись глазами в воду; и в то же время потешаясь, наблюдал, как она неистовствует и машет руками, вниз головой, в зеркале реки. Я молчал; но животом своим смеялся, и живот у меня содрогался. Чем сильнее я хохотал, тем возмущеннее она ныряла в Беврон, и чем глубже она в него кувыркалась, тем сильнее я хохотал. Наконец, она яростно хлопнула окном и дверью и вылетела, как ураган, чтобы мной завладеть... Да, но ей надо было перейти реку. Слева? Справа? Мы были промеж двух мостов... Она выбрала пешеходные мостки, справа. А я, естественно, когда увидел, что она направилась этим путем, двинулся противоположным и вернулся через большой мост, где одинокий Гаден, как цапля, все еще стоически торчал с утра.

Я был дома. Уже наступила ночь. И как это проходят дни? Я, слава богу, не похож на Тита, на этого римского бездельника, который вечно охал о потерянном времени. Я не теряю ничего, я своим днем доволен, я его зарабатываю. Но только мне бы нужно два дня, два каждый день; а то мне не хватает. Чуть я начинаю пить, как стакан уже и пуст; он с трещиной! Я знаю людей, которые прихлебывают себе и кончить не могут. Или, чего доброго, у них стакан больше моего? Вот уж это была бы вопиющая несправедливость!

Эй ты там, шинкарь под вывеской Солнца, ты, который разливаешь дни, отпусти мне полную меру!.. Да нет, благословен ты, господи, судивший мне встать из-за стола всякий раз несытым и до того любить день (ночь тоже хороша), что и ночи и дня мне всегда мало!.. Как ты бежишь, апрель! Уже ты и кончен, день! Ничего! Я вас вполне вкусил, вы были моими, в моих руках. И я целовал твои маленькие грудки, девчурка тоненькая, дочурка стройненькая весны... А теперь, ночь, здравствуй и ты! Я беру тебя. Всякой свой черед! Мы ляжем вместе... Ах, черт, ведь между нами ляжет еще одна... Вернулась старуха, моя жена...

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЛАСОЧКА

Май

Тому три месяца, мне заказали шкаф с большим поставцом, для замка Ануа; но, прежде чем начать, я хотел взглянуть еще раз своими глазами на дом, на комнату, на место. Ибо красивая мебель — это как шпалерный плод; без дерева он не растет; и каково дерево, таков и плод. Не говорите мне о красоте, которая уживается везде, которой хорошо и там и тут, как девке, если ей больше дают. Это площадная Венера. Для нас искусство нечто родное, гений очага, друг, товарищ: оно высказывает лучше, чем мы сами, то, что все мы чувствуем; искусство — это наш домашний бог. Чтобы его знать, надо знать его дом. Бог создан для человека, а произведение искусства для пространства, которое оно завершает и наполняет. Прекрасно то, что на своем месте всего прекраснее.

Итак, я пошел взглянуть на место, где бы я мог водрузить мою работу; и там я провел часть дня включая еду и питье: ибо ради духа не должно забывать брюха. Обоих ублаготворив, я двинулся в обратный путь и весело шагал домой.

Я был уже у перекрестка, и, хоть и не сомневался насчет пути, каким мне следовало идти, я все-таки косился на другую дорогу, струившую в лугах свою красоту, между изгородей в цвету...

«Как было бы хорошо,— говорил я себе,— пройтись в эту сторону! К черту большие дороги, которые ведут прямо к цели! День долог, ясен небосклон. Мой

друг, не будем гнать быстрей, чем Аполлон. Поспеем. У нашей старухи язык от ожидания не отнимется... Боже ты мой, как миловидно это сливовое деревце с белой мордочкой! Пойдем к нему навстречу. Всего каких-нибудь пять-шесть шагов. Зефир разносит по воздуху его перышки: точно снег. Сколько щебечущих птиц! Ах, какое блаженство!.. И этот ручей, что скользит, мурлыкая, под травой, словно котенок, который, играя, гоняет клубок по ковру!.. Идем за ним следом. Вот древесная занавесь преграждает ему бег. Сейчас он попадется... Ишь ты, плутишка, как же это он проскользнул? Да вот тут, вот тут, промеж лап, промеж старых, узлистых, распухших лап этого обезглавленного вяза. Вот пролаза!.. Но хотелось бы знать, куда эта дорога меня заведет...»

Так я рассуждал, следуя по пятам за моей болтливой тенью и притворялся, лицемер, будто не знаю, куда нас хочет завлечь эта приманчивая тропинка. Как ты складно лжешь, Кола! Хитроумнее Улисса, ты морочишь сам себя. Ты отлично знаешь, куда идешь! Ты это знал наперед, уже выходя из замковых ворот. В часе ходьбы отсюда — ферма Селины, нашей былой кручины. Вот мы ее удивим! Но только кто из нас, она или я, будет больше удивлен? Уже столько лет я ее не видал! Что-то осталось от ее шустренькой рожицы, от лукавой гримасочки моей Ласочки? Я могу смело перед ней предстать; теперь уже нечего бояться, чтобы она изгрызла мне сердце своими острыми зубками. Сердце мое ссохлось, как старая лоза. Да есть ли у нее и зубы-то? Ах, Ласочка, Ласонька, в былые дни как умели смеяться и кусаться они! И потешалась же ты над бедным Брюньоном! И вертела же, и крутила же ты им, ой-ой, волчком, ходуном, коле-

сом, как юлой! Что ж, если это тебя забавляло, милая моя, ты была права. И баранья же я был голова!..

Я вижу самого себя, как я стою, разинув рот, облокотясь обеими руками о каменный забор мэтра Медара Ланьо, моего хозяина, научившего меня благородному искусству ваяния. А по ту сторону забора, по большому огороду, смежному со двором, который служил нам мастерской, между грядок латука и клубники, розовых редисок, зеленых огурцов и золотистых дынь, расхаживала, с босыми ногами, с голыми руками и с полуобнаженной грудью, наряженная всего лишь в тяжелые рыжие косы, в рубашку из сурового полотна, под которой торчали ее крепкие груди, и в короткую юбку, доходившую до колен, красибая, бойкая девушка, наклоняя смуглыми и сильными руками две лейки, полные воды, над курчавыми головами растений, разевавших свои маленькие клювы, чтобы пить. А я, обомлев, разевал мой немалый клюв, чтобы лучше видеть. Она ходила взад и вперед, опоражнивала лейки, возвращалась к цистерне, наполняла их снова, обе разом, выпрямлялась, как тростинка, и опять осторожно ступала вдоль узких тропок, по сырой земле, своими смышлеными ногами с длинными пальцами, которые словно ощупывали на ходу спелую землянику, всю в меду. Колени у нее были круглые и сильные, как у мальчишки. Я пожирал ее глазами. Она словно не замечала, что я на нее гляжу. Но подходила все ближе и ближе, струя свой легкий дождь; и, очутившись совсем вблизи, вдруг стрельнула в меня своим глазом... Ай-ай, я так и чувствую крючок и тесные петли окрутивших меня сетей. Правду говорят: «Бабий зрачок, что паучок!» Чуть она меня задела, я заметался... Да уж поздно!

И так и прииик я, глупая муха, к забору, с прилипшими крыльями. Оиа перестала обращать на меия виимаиие. Присев на корточки, она пересаживала капусту. И только изредка коварная зверюшка украдкой поглядывала в мою стороиу, дабы удостовериться, что добыча не ушла из капкана. Я видел, что оиа посмеивается, и сколько я ни твердил себе: «Мой бедиый друг, уходи, она иад тобой издевается», но, видя, что она посмеивается, я и сам посмеивался. И дурацкий же, должио быть, у меия был вид! Вдруг оиа делает прыжок в стороиу. Перемахивает через грядку, через другую, через третью, бежит, подскакивает, ловит иа лету пушок одуваичика, мягко плывущий по воздушиым струям, и, помахивая рукой, кричит, глядя иа меня:

— Еще один влюблеиный попался!

С этими словами она засуиула пушистую лодочку в вырез своей сорочки, между грудей. Я хоть и дурак, да в сердечиых делах ие такой уж сопляк; я ей сказал:

— Суньте и меня туда!

Тут она расхохоталась и, подбочась, расставив ноги, ответила мне прямо в лицо:

— Полюбуйтесь иа этого обжору! Не для тебя, губошлеп, зреют мои яблоки...

Так, одиажды, в августовский вечер, я позиакомился с нею, с Ласонькой, с Ласочкой, с красивой садовницей. Ласочкой ее звали потому, что, как у той, у остромордой сударушки, у иее было длииное тело и малеиькая голова, хитрый пикардийский иос, рот, слегка выступающий вперед и хорошо расщеплениый, чтобы смеяться и чтобы грызть сердца и орехи. Но от ее темио-сииих глаз, подериутых дымкой солиечного

предгрозья, и от уголков ее губ, губ жеманной фавны с жалящей улыбкой, тянулась нить, из которой рыжий паук ткал свою паутину, опутывавшую людей.

С тех пор я проводил половину дня, вместо того чтобы работать, за ротозейством у забора, пока ступня мэтра Медара, поддавая мне в зад без всякой почтительности, не возвращала меня к действительности. Иной раз Ласочка кричала, сердясь:

— Да уж насмотрелся на меня и спереди и сзади! Чего ты еще не видал? Должен бы меня знать уже!

А я, хитро подмигивая глазом, говорил:

— Женщину и арбуз узнаешь на вкус.

Как бы охотно я отрезал себе ломтик! Быть может, меня устроил бы и какой-нибудь другой плод. Я был молод, с горячей кровью, влюблен в одиннадцать тысяч дев; ее ли я любил? Бывают в жизни дни, когда готов влюбиться в козу, ежели на ней чепец. Нет, полно, Брюньон, ты кощунствуешь, ты сам не веришь тому, что говоришь. Первая, кого любишь, это и есть настоящая, подлинная, та, кого должен был полюбить; ее сотворили светила, чтобы нас утолить. И, должно быть, потому, что я ее не испил, меня мучит жажда, вечная жажда, и будет меня мучить всю жизнь.

И ладили же мы с ней! Мы только и делали, что жучили друг друга. Язычок у нас у обоих был подвешен неплохо. Она осыпала меня поношениями, а я на пригоршню отвечал охапкой. Глазок и зубок у нас были проворные. Иной раз мы сами над собой хохотали до хрипоты. И она, чтобы удобнее было хохотать, выпалив какое-нибудь злое словцо, садилась на корточки, опускаясь, как наседка, на свою репу и лук.

Вечером она приходила беседовать к моему забору. Я до сих пор вижу, как однажды, не переставая

говорить и смеяться и смотря мне в глаза своими смелыми глазами, ищущими слабого места в моем сердце, чтобы заставить его вскрикнуть, я вижу, как, подняв руки, она пригибает к себе вишневую ветвь, отягченную алыми подвесками, образующими гирлянду вокруг ее рыжих волос; и, вытянув шею, запрокинув лицо, она, не срывая ягод, отклевывает их от дерева, оставляя висеть косточки. Мгновенный образ, вечный и совершенный, молодость, жадная молодость, сосущая грудь небес! Сколько раз потом я вырезал изгиб этих красивых рук, этой шеи, этой груди, этого алчного рта, этой откинутой назад головы — на створках мебели, среди цветущей вязи! Перегнувшись через забор, протянув руки, я отнял, я вырвал эту ветвь, которую она обгладывала, я прильнул к ней ртом, я жадно вбирал губами влажные косточки.

Встречались мы также и по воскресеньям, на гулянье или у погреба Божи. Мы танцевали; я был грациозен, как жердь; любовь меня окрыляла; любовь, говорят, учит танцам ослят. И, кажется, ни на минуту мы не переставали воевать. Вот уж задира она была. И наслушался же я от нее зубастых шуточек насчет моего кривого носа, насчет моей разверстой пасти, где, по ее словам, можно печь пироги, насчет моей бороды, как у сапожника, и всей этой моей фигуры, которую господин кюре считает созданной по образу и подобию бога, меня сотворившего. (Вот смеху-то будет, когда мы с ним встретимся!) Она не давала мне ни минуты покоя. Впрочем, и я не оставался в долгу.

В конце концов, ей-богу, оба мы начинали распаляться. Помнишь ты, Кола, сбор винограда у мэтра Медара Ланьо? Пригласили и Ласочку. Мы работали

с нею рядом, согнувшись меж кустов. Наши головы почти соприкасались, и по временам моя рука, очищая лозу, задевала случайно ее бедро или ногу. Тогда она поднимала свое раскрасневшееся лицо и лягалась, как молодая кобылица, или мазала меня по носу липкой гроздью; а я брал сочную черную кисть и давил об ее золотистую грудь, опаленную солнцем... Она защищалась, как чертовка. Как я ни преследовал ее, мне так и не удавалось застигнуть ее врасплох. Оба мы подстерегали друг друга. Она сама раздувала огонь и смотрела, как я горю, поддразнивая меня:

— Ты меня не получишь, Кола...

А я, с невинным видом, примостясь на своем заборе — жирный кот, свернувшийся в клубок, который прикидывается спящим и сквозь узкие щелки приоткрытых век следит за танцующей мышкой,— я заранее облизывался.

— Посмотрим, кто из нас посмеется!

И вот однажды днем (это было как раз в мае), в самом конце месяца (но тогда было куда жарче, чем сейчас), зной стоял изнуряющий; белое небо веяло на нас своим жгучим дыханием, как печная пасть; и засев в этом гнезде почти уже с неделю, гроза высиживала свои яйца, которые все не желали лопнуть. Можно было растаять от жары; рубанок был весь мокрый, а сверло прилипало к рукам. Ласочка только что пела и вдруг замолкла. Я стал искать ее глазами. В саду никого... И вдруг я ее увидел там, в тени шалаша, сидящей на ступеньке. Она спала, с открытым ртом, откинув голову, на пороге. Одна ее рука повисла рядом с лейкой. Сон сразил ее сразу. Она отдавалась беззащитно, всем своим простертым, телом, полунагая и сгорая под пламенным небом, как Даная! Я счел себя

Юпитером. Я перелез через забор, и прошел по грядкам, давя капусту и салат, я обнял ее обеими руками, и поцеловал ее прямо в губы; она была горячая и обнаженная и влажная от пота; она не сопротивлялась, полусонная, переполненная желанием; она не открывала глаз, и ее рот искал мой рот и отвечал на мои поцелуи. Что произошло со мной? Какая странность! Поток страсти бушевал в моих жилах; я был пьян, я сжимал это влюбленное тело; добыча, о которой я мечтал, жареный жаворонок падал мне прямо в рот... И вот (дурак) я не посмел ее взять. Какая-то глупая совесть во мне проснулась. Я слишком ее любил, мне было больно думать, что она окована сном, что со мною ее тело, но не душа, что моей гордой садовницей я овладею предательски. Я оторвался от счастья, я разомкнул наши руки, наши губы и все те узы, которые нас оплели. Это было нелегко: мужчина — огонь, женщина — пакля, мы оба пылали, я дрожал и пыхтел, как тот другой дурак, который победил Антиопу. Наконец, я восторжествовал, то есть убежал. Тридцать пять лет спустя я краснею при мысли об этом. Ах, глупая молодость!.. Как хорошо думать, что был так глуп когда-то, как это освежает сердце!..

Начиная с этого дня, она стала сущей дьяволицей. Причудливее, чем стада три неугомонных коз, изменчивее грез, она то пронзала меня оскорбительным презрением или не желала меня знать, то расстреливала меня томными взорами, вкрадчивым смехом; притаясь за деревом, она целилась в меня украдкой комком земли, который попадал мне в затылок, если я стоял спиной, или — хлоп! — сливовой косточкой прямо в лоб. А потом на гулянье щебетала, стрекотала и тараторила то с одним, то с другим.

Хуже всего было то, что она вздумала, чтобы еще пуще меня позлить, поймать в силок другого такого же дрозда, моего лучшего приятеля Кириаса Пинона. Мы с ним были, как два пальца на одной руке. Как Орест и Пилад, на всех драках, свадьбах и пирушках мы выступали всегда вдвоем, упражняясь глоткой, ногой и кулаком. Он был узловат, как дуб, коренаст, крепок телом и головой, на слово скор, в деле спор. Он убил бы всякого, кто вздумал бы меня обидеть. Его-то как раз она и выбрала, чтобы мне досадить. Это ей не стоило особого труда. Достаточно было двух-трех пронзительных взглядов да полудюжины обычных ужимок. Облечься видом невинным, томным, дерзким, рассмеяться, пошушукать, пожеманничать, пощуриться, состроить глазки, показать зубки, покусать губки или облизнуть их острым язычком, изогнуть шейку, повертеть талией да подрыгать хвостиком, как трясогузка,— кого из сынов Адама не подцепят крючочки змеевой дочки? Пинон лишился и последнего разума. И с тех пор, взгромоздясь на забор, сопя и пыхтя, мы вдвоем сторожили Ласочку. Не разжимая зубов, мы уже обменивались яростными взглядами. А она раздувала огонь и, чтобы его раззадорить, обдавала его иной раз ушатом ледяной воды. Хоть я и злился, а при такой поливке хохотал. Но Пинон, как истая лошадь, бил копытами землю. Он ругался, чертыхался, рвал и метал. Он был неспособен понять шутку, если это была не его собственная (а в таком случае никто, кроме него, ее не понимал; но сам он смеялся ей за троих). А красотка, как муха на меду, наслаждалась, упиваясь этой любовной бранью; его грубая повадка была не похожа на мою; и хотя эта лукавая дочь галльской земли, хохотушка

и резвушка, была гораздо ближе мне, чем этому скоту, который артачился и ржал, брыкался и вонял, но для разнообразия, из любви к новизне и чтобы насолить мне, она ему одному дарила обещающие взгляды, манящие улыбки. Когда же требовалось исполнить обещанное и расходившийся дурак уже собирался трубить победу, она смеялась ему в глаза и оставляла его ни с чем. Я, разумеется, смеялся тоже; и раздосадованный Пинон обращал свою ярость на меня; ему казалось, что я у него отбиваю его кралю. Дошло до того, что однажды он попросту меня попросил уступить ему место. Я коротко ответил:

— Брат, я как раз собирался попросить тебя о том же.

— В таком случае, брат,— сказал он,— придется нам пробить друг другу башку.

— Я и сам так думал,— ответил я,— но только, Пинон, это мне тяжело.

— А мне еще тяжелее, мой Брюньон. Так уходи, пожалуйста; хватит одного петуха на курятник.

— Верно,— сказал я,— уходи сам: потому что курица моя.

— Твоя? — закричал он. — Врешь, мужик, деревенщина, простоквашник! Она моя, я ее не отдам, никто другой ее не отведает.

— Мой бедный друг, — говорю, — ты бы лучше на себя взглянул. Овернская рожа, репоглот, всякому своя похлебка! Этот бургундский пирожок — наш; он мне по вкусу, мне его хочется. На твою долю ничего нет. Ступай откапывать свою брюкву.

Грозились, грозились, дошли до кулаков. Все же нам было жаль, потому что мы друг друга очень любили.

— Послушай, — сказал он, — оставь ее мне, Брюньон, она предпочитает меня.

— Нет, говорю, меня.

— Ну так спросим ее. Отставленный уйдет.

— По рукам! Пусть выбирает!..

— Да, но извольте требовать от девицы, чтобы она выбрала. Она находит слишком большое удовольствие в том, чтобы растягивать ожидание, которое позволяет ей мысленно взять и того и другого, и не взять ни одного, и ворочать своих воздыхателей на жаровне и так и эдак. Она всегда увильнет! Когда мы заговаривали об этом с Ласочкой, она хохотала в ответ.

Мы вернулись в мастерскую, скинули куртки.

— Ничего другого не остается. Придется одному из нас поколеть.

Когда мы уже собрались вцепиться друг в друга, Пинон сказал мне:

— Чмокни меня!

Мы дважды облобызались.

— Теперь начнем!

Пляс начался. Пустились мы в него не на шутку. Пинон дубасил меня так, что череп налезал на глаза; а я высаживал ему живот коленками. Нет злейших врагов, чем друзья. Через несколько минут мы были все в крови; и алые струйки, как старое бургундское, текли у нас из носу. Право, не знаю, как бы все это обернулось; но только, наверное, один из нас содрал бы с другого шкуру, если бы, по счастью, всполошившиеся соседи и мэтр Медар Ланьо, как раз вернувшийся домой, не розняли нас. Это далось им нелегко: мы были, как псы; нас пришлось стегать, чтобы мы выпустили друг друга. Мэтр Медар взял длинный бич: он нас отхлестал, надавал затрещин, потом отчитал.

Поколотишь бургундца — он умнеет. Надравшись вдоволь, становишься философом и легче внемлешь разумным речам. Взирали мы друг на друга без особенной спеси. И вот тут-то и втерся третий вор.

Толстый мельник, бритый и рыжий, Жан Жифлар, голова как шар, щеки надутые, глазенки маленькие, у него был всегда такой вид, точно он трубит в трубу.

— Ну и петухи! — сказал он, прыская со смеху.— Много они выиграют, когда из-за этой курицы изорвут друг другу гребешки в клочки. Простофили! Да разве вы не видите, что она рада-радешенька, когда вы грызетесь? Еще бы, всякой сударушке приятно таскать за собой в подоле влюбленное стадо, которое скалится на ее кожу... Хотите добрый совет? Даю вам его даром. Помиритесь и плюньте на нее, дети мои; она на вас плюет. Поверните ей спину, и в путь-дорогу оба. Пусть поскучает. Придется ей, наконец, волей-неволей выбирать, и тогда мы увидим, кого из вас она хочет! Ну, живо, марш! Только не мешкать! Делать, так сразу! Смелее! Послушайтесь меня, добрые люди! Пока вы будете шаркать пыльными башмаками по французским дорогам, я останусь тут, приятели, я останусь тут, вам же на пользу: брат брату должен помогать! Я буду следить за красавицей, я буду вас осведомлять об ее сетованиях. Как только она выберет, я дам знать счастливцу; а другой пусть идет хоть на виселицу... А засим идемте выпьем! Выпьешь раз, выпьешь вновь, утопишь жажду, память и любовь...

Мы их утопили так основательно (пили мы, как сапоги), что в тот же вечер, выйдя из кабачка, увязали узелки, взяли в руки посошки, и пошли себе в потемках, дураки, торжествуя, как индюки, преисполненные

благодарности к этому доброму Жифлару, который посмеивался своими глазенками под жирными веками, раздуваясь от удовольствия во всю ширь своей образины, сочной, как кусок свинины.

На следующее утро мы торжествовали уже меньше. Мы в этом не сознавались, мы прикидывались хитрецами. Но всякий ломал себе голову и отказывался понять эту удивительную тактику, чтобы взять крепость, — улепетнуть. Чем выше катилось солнце в круглом небе, тем яснее нам становилось, что мы опростоволосились. Когда наступил вечер, мы искоса поглядывали друг на друга, непринужденно беседовали о том о сем и думали:

«Мой милый друг, как ты складно говоришь! Однако же ты, видимо, не прочь улизнуть. Но только дудки! Я тебя слишком люблю, мой брат, чтобы отпустить тебя одного. Куда бы ты ни пошел (я знаю, маска, знаю...), я за тобой».

После многих тщетных попыток отлучиться (мы уже не расставались, даже когда шли мочиться), посреди ночи, — мы притворно храпели, снедаемые на сеннике любовью и блохами,— Пинон вскочил с постели и завопил:

— Тысяча богов! Я горю, я горю! Я больше не могу! Я иду обратно...

Я сказал:

— Идем обратно.

Шли мы домой целый день. Солнце садилось. В ожидании темноты мы притаились в лесу Марше. Мы не очень-то жаждали, чтобы узнали о нашем возвращении: нас подняли бы на смех. А потом хотелось застать Ласочку горюющей, одинокой, плачущей и корящей себя: «Увы, мой друг, мой друг, зачем ты уда-

лился?» В том, что она грызет себе пальцы и вздыхает, мы не сомневались: но кто был этим другом? Каждый отвечал:

— Я.

И вот, прокравшись бесшумно вдоль ее сада (глухое беспокойство покалывало нам грудь), под открытым окном, залитым луной, на яблонной ветке мы увидели висящим... Вы думаете — что? Яблоко?.. Мельников колпак!.. Рассказывать вам, что было дальше? Милые мои, вам было бы слишком весело. Я уже вижу, шутники, как вы ухмыляетесь. Несчастие ближнего — для вас забава. Рогачи всегда рады, когда прибывает их полку...

Кириас рванулся и прянул, как олень (недаром он был рогат). Ринулся к яблоне с мучнистым плодом, вскарабкался по стене, нырнул в комнату, откуда тотчас же понеслись крики, визг, телячий рев, проклятия...

— Черт, дьявол, сатана, караул, режут, помогите, рогач, подлец, брюхач, наглец, жаба, шлюха, потаскуха, дермо, мужлан, бельмо, болван; я тебе уши обкарнаю, я тебе кишки выпущу, я тебе покажу, где раки зимуют, я тебе зад расторожу, получи в клистирную рожу!..

И заушины и затрещины... Бац! Хлоп! Трах! Тарарах! Стекла и горшки — вдребезги, в куски, вещи грохочут, люди топочут, девичий крик и львиный рык... При этой адской музыке (дудите, музыканты!) вы сами понимаете, как всполошилась вся округа!

Я не стал дожидаться, чем это кончится. Я видел достаточно. Я пошел той же дорогой, по которой пришел, смеясь одним глазом, плача другим, не зная, повесить нос или его задрать.

— Ничего, Кола, — говорил я себе, — ты счастливо отделался!

И все же Кола грустил в сердечной глубине, что не оставил шкуру в этой западне. Я силился шутить, я припоминал весь этот кавардак, передразнивал то одного, то другого, мельника, девицу, осла, а боль от тяжких вздохов всю душу мне рвала.

— Ой-ой, как это весело! Как это печально! Ах, я умру от смеха... нет, от тоски. Ведь чуть было эта мошенница не запрягла меня в невзрачные оглобли брачные! И отчего она этого не сделала! Отчего я не обманутый муж! По крайней мере она была бы моей! Ведь разве так уж плохо таскать в упряжке то, что любишь!.. Далила! Далила! Ай-люли, могила.

И так вот целых две недели я не знал, за что приняться: начать ли хныкать, или начать смеяться. Моя перекошенная физиономия воплощала в себя всю античную мудрость, и слезливого Гераклита, и смешливого Демокрита. Но люди бессердечно смеялись мне в глаза. Иной раз, думая о своей милой, я готов был погибнуть. Но это быстро проходило. К счастью!.. Любить — прекрасно; но, ей-богу, друзья мои, нельзя же любить до смерти! Это хорошо для Амадисов и Галаоров! Мы у себя, в Бургундии, не герои романов. Мы живем, живем. Когда нас рожали, нас не спрашивали, угодно ли это нам, никто не осведомлялся, желаем ли мы жить; но раз уж мы тут, черт возьми, я остаюсь. Миру мы нужны... Если не он нам нужен... Хорош он или плох, а только, чтобы мы его покинули, нас надобно выставить вон. Раз вино на столе, приходится пить. А выпив, извлечем новое из наших грудастых косогоров! Некогда помирать, ежели ты бургундец. А что до страданий, то это мы делаем (можете

не гордиться) не хуже вашего. Месяца четыре или пять я страдал, как пес. Но время в конце концов перевозит иас через реку, и бремя наших горестей остается на том берегу. Теперь я себе говорю:

— Это все равио, как если бы она была моей...

Ах, Ласочка, Ласоиька!.. Все ж таки моей оиа не была. И иикто другой, как эта жирная колбаса, Жифлар, мучиой мешок, дыииая рожа, ею владеет, ее и греет, и лелеет, Ласочку, тридцать с лишним лет... Тридцать лет!.. Его аппетит, надо думать, поубавился! Мие говорили, он у него пропал на следующий же день после свадьбы. Для этого обжоры проглоченный кус теряет вкус. Если бы не кавардак, который помог обнаружить голубчика в теплом гиездышке (ах, этот горлан Пинои!), иикогда бы наш блюдолиз не дал продеть свой толстый палец в тесиый перстенек... Ио, Гимеи, Гимеиеи! Славно попался, ей-ей! Еще лучше попалась его половинушка: у сердитого мельника всегда виновата скотинушка. А всех лучше, мои друзья, попался я. Итак, Брюиьон, посмеемся (все трое этому виной) над иим, над ней и надо миой...

И вот, посмеиваясь, я заметил в двадцати шагах от себя, за поворотом дороги (иеужто я проболтал целых два часа, великие боги!), дом с красной крышей и зелеными ставиями, которому виноградиая лоза, извилистая, как змея, прикрывала белый живот своими стыдливыми листьями. А перед открытой дверью, в тени орешиика, иад камениым водоемом, где текла светлая вода, иаклоиившуюся женщиину, которую я сразу узиал (а меж тем я не видел ее уже года). И у меия подкосились ноги.

Я чуть было не повернул обратно. Но она меня заметнла н, доставая воду нз нсточннка, смотрела на меня. И вот я увидел, что и она тоже меня вдруг узнала... О, она ннчего прн этом не выказала, она была чересчур горда; но ведро, которое она держала, выскользнуло у нее нз рук в водоем. И она сказала:

— Вот господнн, которому не к спеху... Да ты не торопнсь.

Я ей отвечаю:

— А что, ты разве меня ждала?

— Вот еще! — говорнт. — Стала бы я о тебе думать!

— По правде сказать,— говорю я,— это совсем, как я. А все ж такн я очень рад.

— Да н мне ты не мешаешь.

Так мы стоялн друг протнв друга, она с мокрымн рукамн, я без курткн; мы перемнналнсь с ногн на ногу н смотрелн друг на друга, н у нас не хватало даже снлы друг друга увндеть. В глубнне колодца ведро продолжало захлебываться.

Она мне сказала:

— Так заходн же, ведь время у тебя есть?

— Мннуты две найдется. Я, собственно, спешу.

— По вндy ннкто бы не сказал. Что это тебя привело сюда?

— Меня? Ннчего, — заявнл я самоуверенно, — ничего. Я прогулнваюсь.

— Ты, верно, очень богат? — сказала она.

— Богат, еслн не деньгамн, так фантазней.

— Ты нн чуточкн не нзменнлся,— сказала она,— все такой же сумасброд.

— Еслн кто сумасброд, тот такнм н умрет.

Мы вошлн во двор. Она прнкрыла за собой воро-

та. Мы были одни, посреди кудахчущих кур. Работники все были в поле. Чтобы что-нибудь сделать, а отчасти по привычке, она сочла нужным пойти запереть, а может быть, и отпереть (я уж не помню) дверь у гумна, побранив на ходу Медора. А я, чтобы придать себе непринужденный вид, начал говорить об ее доме, о цыплятах, о голубях, о петухе, о собаке, о кошке, об утках, о свинье. Я бы перебрал, не перебей она меня, весь Ноев ковчег. Вдруг она сказала:

— Брюньон!

У меня захватило дух. Она повторила:

— Брюньон!

И мы взглянули друг на друга.

— Поцелуй меня, — сказала она.

Я не заставил себя просить. В такие годы это никому не вредно, если только не очень полезно. (А полезно оно всегда.) Когда я почувствовал у моих щек, у моих старых, шершавых щек, ее старые, измятые щеки, у меня засвербило в глазах от желания плакать. Но я не заплакал, я не так глуп! Она мне сказала:

— Ты колючий.

— Ей-богу,—сказал я,—если бы сегодня утром мне сказали, что я буду тебя целовать, я бы побрился. Борода у меня была помягче тридцать пять лет назад, когда мне хотелось, а вам ни-ни, когда мне хотелось, мой дружочек, коснуться ею ваших щечек.

— Так ты об этом вспоминаешь до сих пор? — сказала она.

— Нет, я об этом никогда не вспоминаю.

Мы посмотрели друг на друга смеясь, выжидая, кто первый опустит глаза.

— Гордец, упрямец, лошачья головушка, до чего ты был на меня похож! — сказала она.— Но только,

серый ослик, ты не хочешь стариться. Конечно, Брюньон, мой друг, ты не похорошел, вокруг глаз у тебя морщинки, нос у тебя раздался вширь. Но так как ты никогда в жизни не был красавцем, то тебе нечего было терять, и ты ничего и не потерял. Даже ни единого волоска, я готова ручаться, эгоист ты этакий! Разве только, что седина проступила кое-где.

Я сказал:

— Глупая голова, сама знаешь, не сивеет.

— Негодники вы, мужчины, вы себе не любите портить кровь, вам все нипочем. А мы, мы старимся, мы старимся за двоих. Посмотри на эту развалину. Увы, увы! Это тело, такое упругое, которое так отрадно было видеть и еще отраднее было ласкать, эта шея, эти груди, этот стан, эта кожа, эта плоть, вкусная и плотная, как молодой плод... где они и где я? Куда я девалась? Разве узнал бы ты меня, если бы встретился со мною на рынке?

— Среди всех женщин на свете,— сказал я,— я бы тебя узнал с закрытыми глазами.

— С закрытыми — да, а с открытыми? Взгляни на эти ввалившиеся щеки, на этот беззубый рот, на этот длинный нос, который сплющился, как лезвие ножа, на эти красные глаза, на эту дряблую шею, на этот обвислый бурдюк, на этот безобразный живот...

Я сказал (я отлично видел и сам все то, о чем она говорила):

— Птичка-невеличка, всегда молодичка.

— Так ты ничего не замечаешь?

— У меня глаза хорошие, Ласочка.

— Увы, где она, твоя Ласочка, твоя Ласочка?

Я сказал:

— «Ласка, где ты? Ласки нет. Только я заметил

след». Она убежала, спряталась, зарылась. Но я ее вижу, вижу ее узкую мордочку и лукавые глазки, которые за мной следят и манят меня в ее норку.

— Ну, в нее-то тебе не пролезть,— сказала она,— можешь быть спокоен. И отрастил же ты себе брюшко, лис! Видно, от любовной печали ты не отощал.

— Много бы я от этого выиграл! — сказал я.— Печаль нужно питать.

— Так пойдем, покормим младенца.

Мы вошли в дом и сели за стол. Я уж не помню, что я пил и ел, душа у меня была занята; но зубы и глотка работали исправно. Облокотясь на стол, она наблюдала за мной; затем спросила шутливо:

— Ты теперь не так удручен?

— Как говорится в песне,— отвечал я: — тело пусто, дух расстроен; а поешь, и дух спокоен.

Ее большой рот, тонкий и насмешливый, молчал; и пока, бахвальства ради, я городил всякую чепуху, наши глаза смотрели друг на друга и думали о прошлом. И вдруг:

— Брюньон! — сказала она.— Знаешь что? Я тебе никогда этого не говорила. Теперь, когда это уже ни к чему, я могу это сделать. Ведь я любила тебя.

Я сказал:

— Я это знал.

— Ты это знал, негодник! Так отчего же ты мне этого не сказал?

— Стоило мне тебе это сказать, ты бы из духа противоречия ответила: нет.

— А не все ли тебе было равно, если я думала обратное? Что целуют — рот или то, что он говорит?

— Да ведь твой рот, черт возьми, не только гово-

рнл. Я кое-что узнал в ту ночь, когда застал мельника в твоей печи.

— Сам виноват,— сказала она.— Печь топилась не для него. Конечно, виновата и я; но зато я и поплатилась. Вот ты все знаешь, Кола, а между тем ты не знаешь, что я его взяла с досады, что ты ушел. Ах, как я на тебя злилась! Я была зла на тебя уже с того вечера (помнишь?), когда ты мною пренебрег.

— Я? — сказал я.

— Ты, висельник, когда ты пришел сорвать меня в моем саду, однажды вечером, когда я уснула, да так н оставил меня внсеть на ветке, с презрением.

Я возопил и объяснил ей все. Она сказала:

— Я поннмаю. Да ты не старайся так! Глупый человек! Я уверена, что если бы это можно было вернуть...

Я сказал:

— Я поступил бы так же.

— Дурак! — сказала она.— Вот за это-то я тебя и любнла. И вот, чтобы наказать тебя, я принялась тебя мучить. Но только я не думала, что ты будешь так глуп и убежншь от крючка (до чего мужчины трусливы!), вместо того чтобы его проглотнть.

— Покорнейше благодарю! — сказал я. — Пескарь лаком до наживки, но кишками дорожит.

Посмеиваясь уголками сомкнутых губ, не мигая, она продолжала:

— Когда мне сказали, что ты дерешься с тем другим, с тем другнм скотом, которого я даже нменн не помню (я полоскала белье на реке, мне сказали, что он тебя убивает), я бросила валек (плыви, челнок!), он поплыл по теченню, а я, топча белье, расталкивая соседок, кинулась босиком, кннулась опрометью, хо-

тела крикнуть тебе: «Брюньон! Да ты с ума сошел? Ты разве не видишь, что я тебя люблю? Много ты выиграешь, если у тебя отхватит один из лучших твоих кусков этот зубастый волк! Я не хочу мужа искалеченного и изувеченного. Я хочу тебя целиком...» Да не тут-то было: пока я разливалась соловьем, наш вертопрах пьянствовал в кабачке, не помнил уже, за что и дрался, и, взявшись с волком под ручку, вместе с ним удрал (ах, трус, трус!), удрал от овечки!.. Брюньон, как я тебя ненавидела!.. Старик, когда я на тебя гляжу, когда я гляжу на нас обоих, сейчас, все это кажется мне смешно. Но тогда, мой друг, я бы с наслаждением содрала с тебя кожу, изжарила бы тебя живьем; но так как наказать тебя я не могла, то я самое себя, потому что я тебя любила, я самое себя наказала. Подвернулся мельник. Со злости я его и взяла. Если бы не этот осел, я бы взяла другого. За этим дело бы не стало. О, как я мстила! Я только о тебе и думала, когда он...

— Понимаю!

— ...когда он мстил за меня... Я думала: «Пусть он теперь вернется! Чешется у тебя голова? Что, Брюньон, получил свое? Пусть только вернется! Пусть только вернется...» Увы, ты вернулся скорее, чем мне хотелось... Остальное ты знаешь. Я оказалась связанной со своим дураком на всю жизнь. И осел (это он или я?) остался на мельнице.

Она умолкла. Я сказал:

— Во всяком случае тебе здесь хорошо.

Она пожала плечами и сказала:

— Не хуже, чем ему.

— Черт возьми!— сказал я.— Этот дом должен быть раем.

Она рассмеялась:

— Вот именно, мой друг.

Мы заговорили о другом, о наших делах и делишках, о наших домах и детишках, но, как мы ни старались, мы поворачивали, на всем скаку, обратно к белому бычку. Я думал, она будет рада услышать подробно про мою жизнь, про всех моих, про мой дом; но убедился (о, женское любопытство!), что все это ей известно нисколько не хуже, чем мне самому. И вот, слово за слово, благо уж начали, затрещали, засудачили о том о сем и ни о чем, с разбором и без разбору, под гору и в гору, ради удовольствия поболтать языком, сами не зная, куда мы идем. Оба мы наперебой сыпали слова гурьбой; с обеих сторон трещала речь, без передышки, как картечь. Растолковывать слова не приходилось: их хватали еще в печи, пока они были горячи.

Насмеявшись вдоволь, я вытирал глаза, как вдруг услышал, что на колокольне бьет шесть часов.

— Боже правый,— сказал я,— мне пора!

— Еще успеешь,— сказала она.

— Твой муж вернется. А видеть его мне не очень-то хочется.

— А мне? — отвечает она.

Из кухонного окна виден был луг, уже наряжавшийся к вечеру. Лучи заходящего солнца натирали золотой пылью тысячи травинок с дрожащими носиками. По гладким камешкам прыгал ручеек. Корова лизала ивовую ветвь; две неподвижные лошади, одна вороная со звездой во лбу, другая серая в яблоках, положив головы друг другу на круп, задумались в предвечерней тишине, кончив пастись. В прохладный дом врывался запах солнца, сирени, теплой травы и золотистого навоза. И в сумраке комнаты, глубоком, мяг-

ком, слегка пахиущем гнилью, подинмался нз камениой чашки, которую я держал в руке, ласковый аромат бургуидской иалнвкн. Я сказал:

— Как хорошо здесь!

Оиа схватила меия за руку:

— И так могло бы быть всю жизиь, каждый деиь!

Я сказал (меия огорчало, что я пришел ее повндать и пробуждаю в ней сожалеиия):

— Ах, зиаешь, моя Ласочка, может быть, оио и лучше в конечном счете, может быть, оно и лучше так, как есть! Ты иичего на этом не потеряла. Один день еще куда нн шло. Но всю жизнь! Я тебя знаю, ты меия зиаешь: тебе бы скоро надоело! Ты себе представить не можешь, что я за сквериое существо, иегодяй, бездельиик, бражинк, распутник, болтуи, вертопрах, упрямец, обжора, лукавец, спорщнк, мечтатель, злюка, чудак, пустозвои. Ты была бы, дитя мое, несчастлива, как камни, и ты бы мне отомстила. Прн одиой мыслн об этом у меия волосы встают дыбом по обе стороиы лба. Слава всеведущему богу! Все хорошо, как оно есть.

Ее глаза, серьезиые н лукавые, слушали меия. Она кнвиула головой и сказала:

— Ты прав, душа моя. Я знаю, я знаю, ты великий негоднок. (Оиа этого нничуть не думала.) Ты бы меия, иаверное, бнл; я бы тебе изменяла. Но что поделаешь? Раз уж иа этом свете и то н другое неизбежно (так начертано в иебесах), то разве бы ие лучше было, чтобы это иам досталось друг от друга?

— Разумеется,— сказал я,— разумеется...

— Ты как будто не очеиь уверен.

— Нет, как же,— ответил я.— И все-таки надо уметь обходиться без этого обоюдного счастня.

И, вставая, я коичил так:

— Не иадо жалеть ни о чем, Ласочка! Так или иначе, мы пришли бы к тому же. Любишь друг друга или ие любишь, ио когда катушка, как у иас с тобой, подходит к коицу, то это дело прошлое, все равно как если бы ничего ие было.

Оиа мие сказала:

— Лгуи!

(И как она была права!)

Я ее поцеловал, ушел. Оиа провожала меия глазами, прислонясь иа пороге к косяку двери. Перед иами стлалась тень высокого орешника. Я ие оборачивался, пока ие загнул за поворот дороги и ие был вполие уверен, что иичего уже не увижу. Тогда я остаиовился, чтобы передохиуть. Воздух был напоеи благоуханием иависших глициний. И белые волы вдалеке мычали на лугу.

Я пошел дальше; и, срезая иапрямик, оставил дорогу, взобрался на косогор, пересек виноградники и вошел в лес. Но ие затем, чтобы вериуться поскорее. Ибо полчаса спустя я все еще стоял у опушки под сеиью дуба, ие шевелясь и разинув рот. Я сам ие зиал, что я тут делаю. Я размышлял, я размышлял. Багровое небо угасало. Я смотрел, как умирают его отсветы иа виноградииках с молодыми листочками, блестящими, лосиистыми, пунцовыми и золотистыми. Пел соловей... В глубине моей памяти, в моем опечалениом сердце пел другой соловей. Вечер, такой же, как этот. Я был со своей милой. Мы поднимались по склону, устлаииому виноградниками. Мы были молоды, веселы, говоруны, хохотуны. Вдруг что-то проиеслось в воздухе, веяиие вечернего звона, дуновение земли иа

закате, когда она потягивается, и вздыхает, и говорит тебе: «Приди ко мне», нежная грусть, падающая с луны... Мы смолкли оба и вдруг взялись за руки и молча, не глядя друг на друга, остановились. И вот из виноградников, на которые легла весенняя ночь, поднялся голос соловья. Чтобы не заснуть на лозах, чьи предательские усики завивались, завивались, завивались, вокруг его лапок обвиться пытались,— чтобы не заснуть, свою старую кантилену пел во все горло любовный соловей:

Вьются усики, усики, усики,
Я не сплю, я не сплю...

И я почувствовал, как рука Ласочки говорит:

«Вот я беру тебя и взята сама. Вейтесь, вейтесь, вейтесь, усики, и свяжите нас!»

Мы спустились с холма. Подходя к дому, мы розняли руки. С тех пор вы не соединили их уже ни разу. Ах, соловей, ты распелся вновь! Для кого твоя песнь? Вы вьетесь, усики. Для кого твои узы, любовь?..

А тут и ночь. И, задрав к небу нос, я смотрел, опершись задом на руки, руками на палку, словно дятел на хвост; я все смотрел на вершину дерева, где расцветала луна. Я старался вырваться из охватившего меня очарования. Я не мог. Должно быть, дерево опутало меня своей колдовской тенью, которая сбивает с пути и отбивает охоту его найти. Раз, другой, третий обошел я вокруг ствола, снова и снова; и всякий раз я оказывался на прежнем месте, окованный.

Тогда я примирился и, растянувшись на траве, заночевал под лунной вывеской. Мне не очень-то спалось в этой гостинице. Я меланхолически озирал свою жизнь. Я думал о том, чем бы она могла быть, о том,

чем она была, о моих разрушенных мечтах. Господи, сколько печали находишь в глубинах своего прошлого в эти ночные часы, когда душа расслаблена! Каким себя видишь бедным и голым, когда встает перед обманутой старостью образ юности, облеченной в надежды!.. Я подводил счеты, отмечал просчеты, перебирал скудные богатства моей котомки: жену, которая собой нехороша и не более того добра; сыновей, которые далеки от меня, думают обо всем не так, как я, у которых моего только оболочка; измены друзей и безумства людей; смертоносные вероучения и междоусобные войны; Францию мою растерзанную, мечты моего духа, создания моего искусства разграбленные, жизнь мою — горсть пепла, и налетающий ветер смерти... И, тихо плача, прильнув губами к телу дуба, я поверял ему свою скорбь, притаясь между его корнями, как в объятиях отца. И я знаю, что он меня слушал. И, наверное, потом, в свой черед, заговорил и утешил меня. Потому что, когда несколько часов спустя я проснулся, уткнувшись носом в землю и храпя, от моей меланхолии ничего не оставалось, кроме разве легкой истомы в натруженном сердце да судороги в икре.

Солнце вставало. Дерево, полное птиц, распевало. Оно сочилось пением, как виноградная гроздь, зажатая в руках. Зяблик Гильоме, зорянка Мари Горде, и точильщица, и серая Сильви, щебетунья-славка, и дроздок, мой куманек, самый мой любимый, потому что ему все нипочем, ни холод, ни ветер, ни дождь, ни гром, и вечно-то он смеется, вечно в хорошем настроении, первый запевает на заре и последний умолкает, и потому, что у него, как у меня, нос расцвеченный. Ах, эти славные малыши, как они горланили от всей

души! Они избегли ужасов ночи. Ночи, обильной ловушками, которая каждый вечер опускается на них, словно сеть. Удушающий мрак... кому погибнуть пришла пора? Но, фарирарира!.. как только раздвигается полог ночи, чуть бледная улыбка далекой зари начинает оживлять окоченевшее лицо и побелевшие губы жизни... уай ти, уай ти, ла, ла-и, ла-ла-ла, ладери, ла рифла... какими криками, друзья мои, каким любовным восторгом приветствуют они день! Все, что было выстрадано, все, что страшило, безмолвный испуг и окоченелый сон, и ночь, и все, уайт ти, все... фрртт... позабыто. О, день, о, новый день!.. Научи меня, мой дроздок, твоему дару возрождаться с каждой новой зарей, полным веры живой!..

Он все свистал. Его здоровая ирония подбодрила и меня. Сидя на земле, я тоже принялся свистать. Кукушка... «зегзица белая, зегзица черная, зегзица птица вздорная»... играла в прятки где-то в лесу.

«Кукушка, замолчи, черт изжарит тебя в печи!»

Прежде чем встать, я перекувырнулся. Пробегавший заяц последовал моему примеру; он смеялся; губа у него расселась от частого смеха. Я двинулся в путь, распевая во все горло:

— Всему хвала, всему хвала! Друзья мои, земля кругла. Кто не умеет плавать, того плохи дела. Через пять моих чувств, разверстых вновь, врывайся, мир, втекай в мою кровь! Стану я дуться на жизнь, как старый дурак, оттого что и это и то — не так? Стоит только разохотиться: «Если бы я... Если бы мне...» так и не остановишься; вечно человек будет недоволен, вечно будет желать больше, чем ему дано! Даже господин де Невер. Даже король. Даже господь бог. Всякому свои границы, всякому свой порог. Стану я вол-

новаться, стану я ныть, оттого что не в силах его переступить? Да и лучше ли мне будет не на моем месте? Я у себя, и здесь я остаюсь, и здесь я и останусь, черт побери, насколько можно дольше. Да на что мне и жаловаться? Мне в сущности никто ничего не должен. Я ведь мог и вовсе не родиться... Боже милостивый! При одной мысли об этом меня мороз по коже подирает. Эта миленькая, маленькая вселенная, эта жизнь, и вдруг — без Брюньона! И Брюньон — без жизни! Какой печальный мир, о друзья мои!.. Все хорошо, как оно есть. Чего у меня нет, ну его к чертям! Но что мое, того я не отдам...

С опозданием на день я вернулся в Кламси. Можете судить сами, как меня там встретили. Но я этим не стал огорчаться; и, взобравшись на чердак, как видите, изложил на бумаге, кивая носом, разговаривая сам с собой, высовывая на сторону язык, мои горести и мои радости, радости моих горестей...

Про то, что мучило в свой час,
Приятно повести рассказ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЗАЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ, ИЛИ СЕРЕНАДА В АНУА

Июнь

Вчера утром мы узнали о проезде через Кламси двух именитых гостей: мадемуазель де Терм и графа де Майбуа. Они, не останавливаясь, проследовали прямо в замок Ануа, где должны провести недели три-четыре. Совет старшин постановил, согласно обычаю, отправить на следующий день к этим знатным птицам делегацию, дабы принести им от имени города наши поздравления с благополучным прибытием. (Словно чудо, если какой-нибудь такой зверь докатит в своей мягкой карете, в тепле и холе, от Парижа до Невера, не сбившись с дороги и не поломав себе ноги!) Следуя опять-таки обычаю, совет постановил присовокупить к сему, во внимание к их клювам, некое печеное лакомство, гордость города, большие сухари с глазурью, каковыми мы славимся. (Мой зять, пекарь Флоримон Равизе, поставил их три дюжины. Господа совет довольствовались двумя; но наш Флоримон, который тоже состоит старшиной, действует всегда широко: шестнадцать солей штука; платит город.) Наконец, дабы усладить все их чувства зараз и так как, говорят, лучше естся под музыку (мне, когда я ем и пью, она ни к чему), поручили четырем отборным игрецам, двум скрипкам и двум гобоям, с тамбурином на придачу, отзвонить на своих снарядах серенаду гостям в добавление к сластям.

Я присоединился к их компании со своей свирелью, никем не званный. Не мог же я отказать себе в ли-

цезрении новых лиц, в особенности таких птиц, которые украшают двор (только не птичий: беру вас в свидетели, что ничего подобного я не говорил). Я люблю их тонкое оперение, их щебет и их повадку, когда они на себе перышки разглаживают или чинно расхаживают, вертя задом, с гордым взглядом, поводя крылом, клювом и хвостом. Притом же, будь ты от двора или не от двора, откуда бы ты ни взялся, раз ты мне новое несешь, ты для меня всегда хорош. Я сын Пандоры, я люблю приоткрыть все ящики, все души, чистые и грязные, красивые и безобразные, жирные и тощие, рыться в сердцах, смотреть, что там обретается, заниматься тем, что меня не касается, всюду нос совать, разнюхивать, смаковать. Я готов отведать плети, чтоб изведать все на свете. Но я не забываю (будьте покойны) соединять приятное с полезным; и так как для господина д'Ануа у меня в мастерской были как раз две больших резных филенки, то я счел весьма удобным отправить их, не тратя ни гроша, на одной из тележек, вместе с делегатами, скрипками, гобоями и заливными сухарями. Захватили мы с собой также и мою Глоди, Флоримонову дочку, чтобы прокатить ее, благо представлялся случай, на даровщинку. А другой старшина повез своего сынишку. Наконец, аптекарь нагрузил повозку сиропами, настойками, медами, вареньем, каковые свои изделия намеревался поднести за счет города Кламси. Отмечу, что мой зять весьма это порицал, говоря, что так не принято и что если бы всякий мастер, мясник, пекарь, сапожник, цирюльник и так далее вздумал так поступать, то это было бы разорением для города и для частных лиц. Он был совсем не так уж неправ; но тот был старшина, как и он, Флоримон: ничего не

скажешь. Маленькие люди подчинены законам; а не маленькие их творят.

Отправились на двух повозках: городской голова, филенки, подарки, ребятенки, четверо музыкантов и четверо старшин. Сам я пошел пешком. Пусть себе расслабленных телега везет, как старух на рынок или на бойню скот! Погода, признаться, стояла не из лучших. Небо было тяжелое, грозовое, мучнистое. Феб устремлял на наши затылки свой круглый и жгучий глаз. На дороге вились пыль и мухи. Но за исключением Флоримона, который дрожит за свою белую кожу хуже всякой барышни, все мы были довольны: в компании и скука — развлечение.

Пока видна была башня святого Мартына, все эти важные господа вид хранили степенный. Но как только мы скрылись у города из глаз, все лица прояснились и души, подобно мне, скинули кафтаны. Сперва отпустили кое-какие сальности. (Это у нас лучший способ, чтобы расшевелиться.) Потом кто-то запел, за ним другой; мне кажется, прости меня, господи, что не кто иной, как городской голова первый затянул веселые слова. Я заиграл на своей свирели. Остальные подхватили. И, пронзая гобои и голоса, голосок моей Глоди взлетел под небеса и порхал и чирикал, как воробышек.

Ехали не очень быстро. Лошади на подъемах сами останавливались, переводили дух и салютовали задом. Прежде чем тронуться дальше, ждали, пока не выдохнется их музыка. Возле Буашо наш нотариус, мэтр Пьер Делаво, попросил нас сделать крюк (нельзя было ему отказать: это был единственный старшина, который ничего не потребовал), чтобы заехать, по дороге, к клиенту, составить проект завещания. Все

общество это одобряло; но времени это заняло немало; и наш Флоримон, сходясь в данном случае с аптекарем, опять нашел повод придраться. «Лучше виноградина, пусть даже зеленая, для меня, чем две фиги для тебя». Тем не менее мэтр Пьер Делаво закончил, не торопясь, свои дела; и аптекарь, рад — не рад, скушал эту полуфигу, полувиноград.

Наконец, мы приехали (в конце концов всегда приедешь), хоть и поздновато. Наши птицы уже вставали из-за стола, когда мы явились со своим десертом. Чтобы помочь горю, они начали сначала: птицы вечно едят. Наши господа совет, подъезжая к замку, учинили еще одну, предпоследнюю остановку, дабы облечься в свои парадные одеяния, бережно сложенные подальше от солнца, в свои красивые, яркие балахоны, согревающие глаз, веселящие сердце, зеленый шелковый для городского головы и светло-желтые шерстяные для четырех его собратьев: ни дать ни взять — огурец и четыре тыквы. Мы вступили, играя на наших инструментах. На шум из окон повысовывались головы праздной челяди. Наши четверо шерстоносцев и облаченный в шелк взошли на крыльцо, в дверях коего соблаговолила показаться (мне было довольно плохо видно) на паре брыжей пара голов (у всякой скотинки свой хомут), завитых, в лентах, ну прямо барашки. Мы, прочие, музыка и мужики, остались стоять посреди двора. Так что издали я и не расслышал красивой латинской речи, произнесенной нотариусом. Но я не огорчался: ибо, по-моему, мэтр Пьер один ее и слушал. Зато я вполне насладился зрелищем, когда моя крошка Глоди поднималась мелкими шажками по ступеням лестницы, словно маленькая Мария, вводимая во храм, прижимая ручонками

к животу корзинку с возвышавшимися в ней сухарями, которые доходили ей до самого подбородка. Она ни одного не обронила: она обнимала их глазами и руками, лакомка, плутовка, душечка... Господи, я готов был ее съесть!

Детское очарование подобно музыке; оно вернее проникает в сердце, чем та, которую исполняли мы. Самые надменные люди смягчаются, становишься ребенком сам, забываешь на миг свою гордость и сан. Мадемуазель де Терм улыбнулась ласково моей Глоди, поцеловала ее, усадила к себе на колени, взяла ее за подбородок и, переломив сухарь, сказала: «Дай сюда ротик, поделимся...» — и сунула тот кусок, что побольше, в круглую печурку. Тут я от восторга закричал во все горло:

— Да здравствует добрая красавица, цветок Невера!

И на своей свирели сыграл веселый напев, который прорезал воздух, как звонкоголосая ласточка.

Все хохочут, оборотясь ко мне; а Глоди бьет в ладоши и кричит:

— Дедушка!

Господин д'Ануа называет меня по имени:

— Это наш чудак Брюньон...

(Он в этом смыслит, как-никак. Не меньший, чем я сам, чудак.)

Он подзывает меня знаком. Я подхожу с моей свирелью, бойко поднимаюсь по лестнице и кланяюсь...

> (С учтивой речью, шляпу сняв,—
> Недорого стоит, и будешь здрав...)

...кланяюсь направо и налево, кланяюсь вперед и назад, кланяюсь каждому и каждой. А тем временем

скромным оком озираю барышню, подвешенную в своих широких фижмах (точь-в-точь колокольный язык); и, раздевая ее (мысленно, разумеется), смеюсь тому, какая она маленькая и голенькая, под наверченными на нее фалборками. Она была высокая и стройная, кожей слегка смугла, пудрой совсем бела, красивые карие глаза, блестящие, как карбункулы, носик, как у свинки, которая всюду отроет лакомство, рот, приятный для поцелуя, полный и румяный, а на щеках завитые кудряшки. При виде меня он спросила снисходительно:

— Это ваш прелестный ребенок?

Я ответил увеселительно:

— Откуда мы можем знать, сударыня? Вот господин мой зять. Он и должен знать. Я за него не могу отвечать. Во всяком случае это наше добро. Никто его у нас не требует. Это не то, что с деньжатами. «Бедные люди богаты ребятами».

Она изволила улыбнуться, а господин д'Ануа громогласно расхохотался. Флоримон засмеялся тоже; но с кислой рожей. Я хранил серьезную мину, я разыгрывал дурачину. Тогда мужчина с брыжами и дама с колоколом соблаговолили меня спросить (они приняли меня за гудочника), много ли мне приносит мое ремесло. Я им ответил, как оно и есть:

— Почти что ничего...

Не сказав, впрочем, чем я занимаюсь. Да и к чему бы я стал говорить? Они меня об этом не спрашивали. Я ждал, мне хотелось посмотреть, я развлекался. Я нахожу весьма забавным это развязное и церемонное высокомерие, с которым все эти красавчики, все эти богачи считают нужным обращаться к тем, у кого ничего нет и кто беден! Они всякий раз словно

читают им поучение. Бедный человек — что ребенок, своего ума у него нет... И потом (этого не говорят, но так думают) он сам виноват: господь его наказал, это хорошо; благословен господь!

Словно меня тут и не было, Майбуа говорил громко своей куме:

— Благо, сударыня, делать нам все равно нечего, воспользуемся этим бедным малым; с виду он простоват, ходит себе по дворам, играя на свирели; он, должно быть, знает хорошо кабацкий люд. Разузнаем у него, что думает здешняя область, если вообще...

— Тш!..

— ...если вообще она думает.

Итак, меня спросили:

— Ну-ка, милейший, скажи нам, как у вас тут настроены умы?

Я переспрашиваю:

— Умы? — напускаю на себя придурковатый вид. И подмигнул моему толстяку д'Ануа, который поглаживал себе бороду и посмеивался в широкую ладонь, предоставив мне действовать.

— По-видимому, насчет умов у вас тут вообще слабовато,— продолжал иронически Майбуа.— И тебя спрашиваю, милейший, что у вас думают, как на что смотрят. Добрые ли вы католики? Преданы ли королю?

Я отвечаю:

— Бог велик, и король весьма велик. Их обоих очень любят.

— А что думают о принцах?

— Это очень большие господа.

— Так вы, значит, за них?

— Да, сударь, а то как же.

— И против Кончини?

— Мы и за него тоже.

— Как же так, черт возьми? Да ведь они враги!

— Не буду спорить... Может быть... Мы за тех и за других.

— Надо выбирать, помилуй бог!

— Да разве надо, сударь мой? Так уж необходимо? В таком случае я готов. За кого же я тогда?.. Сударь мой, я вам это скажу после дождичка в четверг. Я об этом поразмыслю. Только на это нужно время.

— Да чего ж тебе ждать?

— Да надобно, сударь, посмотреть, кто окажется сильней.

— Мошенник, и тебе не стыдно? Или ты не способен отличить день от ночи и короля от его врагов?

— Признаться, сударь, нет. Вы слишком многого от меня требуете. Я, конечно, вижу, что сейчас день, я не слеп; но если выбирать между людьми королевскими и людьми господ принцев, то, право же, я не сумел бы сказать, кто из них лучше пьет и больше безобразит. Я ничего дурного про них не говорю; у них хороший аппетит: значит, они здоровы. Доброго здоровья я и вам желаю. Славных едоков я люблю; я и сам бы рад им подражать. Но, сказать вам откровенно, я предпочитаю таких друзей, которые едят не у меня.

— Чудак, так для тебя ничто не свято?

— Мне, сударь, свята моя хата.

— А ты не можешь ею пожертвовать ради твоего повелителя, короля?

— Я, сударь, готов, раз уж иначе нельзя. Но мне хотелось бы все-таки знать, если бы у нас во Фран-

ции не было вот некоторых таких, которые любят свои виноградники и поля, каков был бы харч у короля? У всякого свое ремесло. Одни едят. Другие... на то, чтобы их ели. Политика — это искусство есть. Она не для нас, мы — мелкая тля. Для вас политика, для нас земля. Иметь суждение — не наше дело. Мы люди невежественные. Что мы умеем, кроме того, чтобы, как Адам, наш отец (говорят, он был и вашим отцом: что до меня, то я этому, простите, не верю... разве что вашим родственником),— что мы умеем, кроме, значит, того чтобы брюхатить землю и делать ее плодородной, вскапывать, вспахивать ее недра, сеять, выращивать овес и пшеницу, подрезать, прививать виноград, жать, вязать снопы, молотить зерно, выжимать гроздья, делать хлеб и вино, колоть дрова, тесать камни, кроить сукно, сшивать кожи, ковать железо, чеканить, плотничать, проводить канавы и дороги, строить, воздвигать города с их соборами, прилаживать нашими руками к челу земли убор садов, расцвечать по стенам и доскам очарование света, извлекать из каменной оболочки, в которой они зажаты, прекрасные и белые нагие тела, ловить на лету проносящиеся в воздухе звуки и замыкать их в золотисто-бурое тело стонущей скрипки или в мою полую флейту,— словом, быть хозяевами французской земли, огня, воды, воздуха, всех четырех стихий, и заставлять их служить на утеху вам, что еще мы умеем и с чего бы мы вдруг могли возомнить, будто что-то смыслим в общественных делах, в княжеских спорах, в священных помыслах короля, в играх политики и в прочей метафизике? Выше собственного зада, сударь мой, не стрельнешь. Мы вьючный скот и созданы для того, чтобы нас били. С этим я не спорю. Но чей ку-

лак нам приятнее и от чьей дубинки легче нашей спинке... это, сударь мой, вопрос важный и моим мозгам непосильный! Сказать вам по совести, мне это все равно. Чтобы вам ответить, надо бы самому взять обе дубинки в руки, взвесить и ту и другую да самому испытать их как следует. А так, приходится терпеть! Терпи, терпи, наковальня. Терпи, пока ты наковальня. Бей, когда будешь молотом...

Тот недоуменно на меня глядел, морщил нос и не знал, смеяться ему или сердиться; но тут один конюший из свиты, который в былое время видывал меня у покойного доброго нашего герцога Неверского, сказал:

— Монсеньер, я этого оригинала знаю: хороший работник, отличный плотник, повитийствовать великий охотник. Он по ремеслу резчик.

Благородный граф, невзирая на это сообщение, о Брюньоне остался, видимо, прежнего мнения и проявил некоторый интерес к его тщедушной особе («тщедушной» сказано здесь из скромности, ибо вешу я, дети мои, немногим меньше мюи) лишь тогда, когда услыхал от конюшего и от своего хозяина, господина д'Ануа, что такие-то и такие-то знатные дома мои работы ценят весьма. Тогда он не менее остальных восхитился показанным ему во дворе фонтаном, изваянным мной и изображающим девушку с подобранным подолом, которая держит в переднике двух уток, а те бьются, разинув клювы и хлопая крыльями. Затем он осмотрел в замковых покоях мою мебель и мои резные филенки. Господин д'Ануа распустил хвост. Уж эти мне богатые скоты! Можно подумать, будто работу, за которую они заплатили своими деньгами, они и сотворили! Майбуа, дабы оказать мне

честь, счел уместным удивиться тому, что я сижу здесь, в душной дыре, вдали от великих умов Парижа, и замыкаюсь в таких вот работах, где все — только терпение, правдоподобие, ничего вымышленного,— только зоркость, никакого полета, — только наблюдательность, никаких идей, никакого символа, аллегории, философии, мифологии — словом, всего того, по чему знаток распознает высокую скульптуру. (Человек высокого рода восторгается только высоким.).

Я ответствовал со скромностью (я ведь смирен и простоват), что знаю отлично, сколь малого я стою, что никто не должен переступать своих границ. Бедный человек нашей породы ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знает, а потому и держится, если он разумен, нижнего яруса Парнаса, где воздерживаются от каких бы то ни было обширных и возвышенных замыслов; и от вершины, где виднеются крылья священного коня, отвращая испуганные взоры, он ломает внизу, у подножья горы, камни, которые могут пригодиться для его дома. Скудоумный от нищеты, он создает и измышляет только то, что идет на ежедневную потребу. Полезное искусство — таков его удел.

— Полезное искусство! Вот два несочетаемых слова,— сказал мой дурачок.— Прекрасно только бесполезное.

— Великие слова! — согласился я.— Истинная правда. Повсюду так, и в искусстве и в жизни. Нет ничего прекраснее, чем алмаз, принц, король, знатный вельможа или цветок.

Он ушел, довольный мной. Господин д'Ануа взял меня под руку и сказал мне на ухо:

— Шутник несчастный! Перестанешь ли ты издеваться? Да, валяй дурачка, агнец невинный, я тебя знаю. Нечего отпираться. Этого парижского красавчика щипли себе на здоровье, сынок! Но если ты когда-нибудь вздумаешь покуситься и на меня, берегись, Брюньон, милый дружок! Найдется у меня и батожок.

Я начал распинаться:

— Я, монсеньер! Покуситься на вашу светлость! На моего покровителя! На моего благотворителя! Да как же можно подозревать Брюньона в подобной гнусности? Быть гнусным — еще куда ни шло, но, боже мой, быть глупым! Покорнейше благодарю! За этим я и сам смотрю. Нет, мне шкура дорога, и я уважаю всякую шкуру, которая умеет заставить себя уважать. До нее я не дотронусь: дудки, не такой я дурак! Ведь вы не только меня сильнее (это само собой), но и куда хитрее. Ведь я только малое лися, рядом с Лисом, что в замке заперся. Сколько у вас тут башен, в вашем каменном мешке! И сколько вы засадили туда старых и малых, убогих и удалых!

Он расцвел лицом. Ничто так не нравится людям, как когда их хвалят за талант, менее всего им свойственный.

— Ладно, господин болтун,— сказал он.— Оставим мой мешок, посмотрим лучше, что-то в твоем. Уж если ты вошел в ворота, так вряд ли спроста.

— Ну, вот видите, говорю, вы опять угадали! Для вас человек — стекло. Вы читаете в глубине сердец не хуже, чем бог-отец.

Я размотал пеленки, достал свои филенки, а также одну итальянскую вещицу (Фортуну на колесе, неко-

гда купленную в Мантуе), которую я выдал, для круглого счету, старый сумасброд, за свою работу. Их похвалили умеренно. Затем (ну и путаница!) одну свою вещицу (медальон, изображающий молодую девицу) я показал им не как свою, а как сделанную в том краю. Пошли ахи и охи, возгласы и вздохи. Все таяли от восхищения. Майбуа, который так и дрожал, заявил, что на ней виден отсвет латинского неба, отсвет земли, дважды благословенной богами, Назареем и Олимпийцем. Господин д'Ануа, который так и ржал, отсчитал мне за нее тридцать шесть дукатов, а за ту — три.

Вечером мы поехали обратно. Дорогой, чтобы позабавить спутников, я им рассказал, как однажды господин герцог Бельгард приехал в Кламси пострелять птиц. Добрый вельможа ничего не видел в четырех шагах. На моей обязанности лежало, когда он стрелял, сбрасывать вниз деревянную птицу и вместо нее, быстро и ловко, подносить другую, подстреленную в самое сердце. Все очень смеялись, и вслед за мной всякий, в свою очередь, поведал какую-нибудь занятную штуку про наших господ. Уж эти знатные господа! Когда они царственно скучают в своем величии, ах, если бы они и знали, до чего они нам смешны!

Но свой рассказ про медальон я предпочел преподнести своим домашним взаперти. Прослушав его, мой Флоримон стал меня горько попрекать, что я так дешево продал, как свою, итальянскую работу, раз они так высоко оценили и так щедро оплатили ту, что была итальянской только по прозвищу. Я ответил,

что потешаться над людьми я согласен, но обжуливать их — нет! Он горячился, спрашивал меня в сердцах, какая мне корысть в том, чтобы веселиться за собственный свой счет. Чтоб люди казались нам смешны, не стоит платить из своей мошны.

Тогда Мартина, моя славная дочка, сказала ему весьма мудро:

— Такие уж мы все у нас в семье, Флоримон, от мала до велика, всегда довольны, речи наши вольны, и своим речам всякий смеется сам. И ты, мой друг, не жалуйся! Ведь только поэтому и ты по сей день не рогат, как олень. Мне так забавно знать, что я в любую минуту могу тебя обмануть, что я обхожусь без этого. Да ты не хмурься так! Жалеть тебе не о чем. Ведь это все равно, как если бы оно было на самом деле. Улитка, спрячь рожки. Я вижу их тень на дорожке.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЧУМА

Первые дни июля

Правду говорят: «Беда от нас пешком, а к нам верхом». Она явилась к нам в виде форейтора орлеанского поезда. В понедельник на прошлой неделе чумный случай был занесен в Сен-Фаржо. Дурное семя, быстрый рост. К концу недели их оказалось еще десять. Затем все ближе к нам, вчера чума объявляется в Куланж-Ла-Винез. Ну и переполох в утиной луже! Все храбрецы — давай бог ноги. Мы погрузили детей, гусей и жен и отправили их подальше, в Монтнуазон. На что-нибудь и беда годна. По крайней мере в доме тишина. Флоримон также уехал с дамами, заявив,— этакий трус,— что не может оставить свою Мартину, которая должна родить. Много толстых господ нашло весьма веские основания для прогулки; заложив повозку, они решили, что лучше не придумывать погоды, чтобы посмотреть, как поживают их всходы.

А мы, оставшиеся, корчили из себя шутов. Тех, кто себя берег, мы высмеивали вдоль и поперек. Господа старшины поставили стражу у городских ворот на Оксеррской дороге, и приказ был строгий гнать всех нищих и бродяг, которые вздумали бы войти. Прочие, господа с гребешком и горожане со здоровым кошельком, должны были все же подвергнуться осмотру трех наших врачей — мэтра Этьена Луазо, мэтра Мартена Фротье и мэтра Фильбера де Во, напяливших на себя, для отвращения заразы, длинные

носы, набитые мазями, маски и очки. Мы над этим очень потешались; и мэтр Мартен Фротье, человек милый, не выдержал серьезности. Он сорвал с себя нос, заявив, что не желает заниматься ерундой и всему этому вздору не верит. Да, но от этого он помер. Правда, что мэтр Этьен Луазо, который верил в свой нос и с ним и спал, помер точно так же. И уцелел один лишь мэтр Фильбер де Во, который предусмотрительнее своих коллег, бросил не нос, а должность... Однако куда я заехал, ведь это уже конец истории, а я еще и предисловия не округлил! Начнем с начала, сынок, и возьмем опять козу за бороду. Крепко держишь на этот раз?

Итак, мы изображали из себя Бесстрашных Ричардов. Мы были так уверены, что чума не почтит посещением наши дома! У нее, говорили, тонкий нюх; запах наших кожевен ей претил (всякому известно, что ничего нет здоровее). Последний раз, когда она появилась в наших краях (это было в тысяча пятьсот восьмидесятом году, и лет мне было, как старому быку, четырнадцать), она сунула было нос на наш порог, но понюхала — и наутек. Тогда-то оно и было, что жители Шатель-Сансуара (и трунили же мы над ними потом!), недовольные своим заступником, великим святым Потенцианом, плохо их защищавшим, прогнали его со двора, взяли на пробу другого, затем третьего, затем четвертого; они меняли заступника семь раз, выбирая то Севиниана, то Перегрина, то Филиберта, то Гилария. И, не зная уж, к какому святому припасть, они припали (озорники!) к святой и на место Потенциана взяли Потенциану.

Мы вспомнили, смеясь, эту историю, храбрецы, удальцы, вольнодумцы. Чтобы доказать, что мы все-

му этому не верим, равно как и врачам и старшинам, мы отважно отправлялись к воротам Шастло побеседовать через рвы с застрявшими на том берегу. Некоторые, из молодечества, ухитрялись даже выбраться на волю, чтобы выпить кружку в ближайшей корчме с кем-нибудь из тех, у кого райские врата захлопнулись под носом, или хотя бы с одним из ангелов, поставленных на страже (ибо службу свою они не принимали всерьез). Я поступал, как они. Мог ли я допустить, чтобы они шли одни? Разве мыслимо было стерпеть, чтобы другие на моих глазах забавлялись, увеселялись и вкушали заодно свежие новости и свежее вино? Я бы лопнул с досады.

Итак, я вышел тоже, завидев старого мызника, хорошего моего знакомого, отца Гратпена из Майи-Ле-Шато. Мы с ним сели пить. Это был веселый толстяк, круглый, красный и коренастый, лоснившийся на солнце от пота и здоровья. Он хорохорился еще пуще моего, знать не хотел никакой заразы и заявлял, что все это лекарские выдумки. По его словам, если иные горемыки и умирают, так не от болезни, а от страха.

Он мне говорил:

— Даю вам даром мой рецепт:

Ходи теплей обутым,
Живот держи не вздутым,
К Матильде будь суров,
Останешься здоров.

Мы посидели часок, меля языком. У него была привычка похлопывать вас по руке или теребить вам бедро или локоть, разговаривая. Тогда я об этом не думал. Зато подумал на следующий день.

На следующий день первое, что мне сказал мой подмастерье, было:

— А вы знаете, хозяин, отец Граптен помер...

Да-с, я важничать не стал, а так и похолодел. Я сказал себе:

— Мой бедный друг, можешь смазывать сапоги; песенка твоя спета, во всяком случае ждать недолго...

Я иду к верстаку, начинаю что-то ковырять, чтобы рассеяться: но вы сами понимаете, что голова у меня была занята совсем не тем. Я думал:

«Глупое животное! Будешь другой раз финтить!»

Но у нас в Бургундии не принято ломать голову над тем, что надо было сделать третьего дня. Мы в сегодняшнем дне. В нем и останемся, черт возьми! Приходится защищаться. Враг меня еще не одолел. Я подумал было обратиться за советом в лавочку святого Кузьмы (то есть к лекарям). Но остерегся и не стал. У меня, невзирая на волнение, сохранилось достаточно бургундского здравомыслия, чтобы сказать себе:

— Сын мой, врачи знают не больше нашего. Они заберут твои денежки, а затем попросту отправят тебя в чумной загон, где ты не преминешь и совсем зачуметь. Боже тебя избави им сознаться! Ведь не сошел же ты с ума? Если требуется всего лишь помереть, так это мы и без них сумеем. И ей же богу, как говорится, «назло врачам мы будем жить до кончины».

Но, как я себя ни утешал и как ни бодрился, я чувствовал, что в желудке у меня неладно. Я щупал себя то тут, то там, то... Ай! на этот раз — это она... И что хуже всего, так это то, что за обедом, перед миской с жирными красными бобами, сваренными в вине с ломтиками солонины (даже сейчас, вспоминая об

этом, я плачу от сожаления), у меия не хватило сил разинуть челюсти. Я думал с тоскою в сердце:

«Дело ясио, я погиб. Аппетит умер. Это иачало коица...»

Ну что ж, приведем по крайней мере в порядок наши дела. Если я умру здесь, эти разбойиики-старшииы сожгут мой дом, потому что, дескать (вот вздор!), другие от него заразятся. Совершенно иовеиький дом! До чего же люди злы и глупы! Уж лучше я иа гиоище подохиу. Мы их проведем! Не будем терять времени...

Я встаю, надеваю самое старое мое платье, беру несколько хороших книг, добрые изречеиия, галльские скромные повестушки, римские апофтегмы, «Золотые слова Катона», «Вечеринки» Буше и «Нового Плутарха» Жиля Керрозе; сую их в сумку вместе со свечкой и с краюхой хлеба; отпускаю подмастерьев, запираю дом и храбро отправляюсь иа свой кута[1], за городом, пройдя последиий дом, на Бомонской дороге. Жилье иевелико. Лачуга. Сарайчик, куда складывают орудия, в нем старый сенник и дырявый стул. Если все это и сожгут, беда иевелика.

Едва я туда добрался, как защелкал клювом, словно ворои. Меия жгла лихорадка, в боку кололо, а нутро сводило так, словно оио выворачивалось иаизнанку... Ну, и что же я сделал, добрые люди? О чем я вам поведаю? О каких героических деяииях, о каком бестрепетном челе противопоставленном, по примеру великой римской публики, враждебной судьбе и желудочиой боли?.. Добрые люди, я был одии, иикто меия не видел. Так я и стал ломаться и разыгрывать перед стеиами римского Регула! Я бросился иа сеиник и при-

[1] Кута́ — виноградник и сад на склоне холма.— *Прим. авт.*

нялся вопить. Вы не слышали? Это было рычание зверево. Слыхать было у Самберского дерева.

— О господи,— стонал я,— за что ты наказываешь безобидного человека, который ничего тебе не сделал?.. Ой, голова! Ой, левый пах!! Тяжело помирать в цветущих годах! А на что моя душа тебе нужна?.. Ой-ой, спина!.. Разумеется, я буду очень рад — то есть польщен — к тебе явиться, но так как мы все равно когда-нибудь увидимся, рано или поздно, то к чему такая гонка?.. Ай-ай, селезенка!.. Я не тороплюсь... Господи, я не более чем жалкий червяк. Раз уж нельзя иначе, да будет воля твоя! Ты видишь, я смирен и кроток, я покорен... Подлец! Да уберешься ли ты, наконец! Что это за скотина грызет мне бок?

Наоравшись вдоволь, я страдал все так же, но исчерпал свою душевную силу. Я сказал себе:

— Ты зря теряешь время. У него или нет ушей, или все равно, как если бы не было. Ежели правда, как говорят, что ты его подобие, то он поступит по-своему, и ты надсаживаешься напрасно. Побереги дыхание. Тебе его хватит, быть может, на какой-нибудь час-другой, а ты, дурак, расточаешь его на ветер! Используем то, что у нас осталось, этот добрый старый остов, с которым придется расстаться (увы, приятель, не по моей это воле!). Умираешь однажды. По крайней мере удовлетворим наше любопытство. Посмотрим, как это вылезают из собственной шкуры. Когда я был мальчишкой, никто не умел лучше меня выделывать из ивовых прутьев красивые дудочки. Я стукал черенком ножа по коре, пока она не отставала. По-моему, тот кто на меня сейчас глядит сверху, совершенно так же забавляется и с моей корой. Ну-ка, слезет она?.. Ай, и здорово же стукнул... Прилично ли человеку таких

лет развлекаться детскими пустяками?.. Так, Брюньон, не сдавайся, и, пока кора еще держится, давай наблюдать и примечать, что такое под ней творится. Осмотрим этот ящик, процедим наши мысли, исследуем, пережуем и переварим соки, которые бродят у меня в поджелудочной железе, волнуются там и спорят, как немцы, просмакуем эти рези, испытаем и прощупаем наши кишки и почки...[1].

...Итак, я созерцаю сам себя. По временам я прерываю мои исследования, чтобы поорать. Ночь тянется. Я зажигаю свечу, втыкаю ее в горлышко старой бутылки (она пахла черносмородинной наливкой, но наливки уже не было: образ того, чем я готовился стать еще до утра! Тело исчезло, осталась одна душа). Скрючившись на сеннике, я силился читать. Героические апофтегмы римлян не имели никакого успеха. К черту этих краснобаев! «Не всякому суждено побывать в Риме». Я ненавижу дурацкую спесь. Я хочу иметь право жаловаться всласть, когда у меня рези... Да, но если они унимаются, я хочу смеяться, буде могу. Я и смеялся... Вы мне не верите? Однако, когда я был совсем жалок, как орех в ведре, и зубы у меня стучали, я раскрыл наугад «Фацетии» этого доброго господина Буше и напал на такую славную, хрусткую и золотистую... боже мой милостивый! что разразился хохотом. Я говорил себе:

---

[1] Здесь мы позволим себе опустить несколько строк. Рассказчик не замалчивает ни единой подробности относительно состояния своего часового механизма; и интерес, который он к иим высказывает, побуждает его распространяться о материях, не слишком хорошо пахнущих. Добавим, что его физиологические познания, каковыми он, видимо, гордится, оставляют желать лучшего.— *Прим. авт.*

— Это глупо. Да перестань же смеяться. Ты себе навредишь...

Какое там! Я переставал смеяться, только чтобы поорать, а орать — чтобы посмеяться. И вот я ору и хохочу. Чума посмеивалась тоже. Ах, милый ты мой, голубчик, ну и орал же я, ну и хохотал же я!

Когда рассвело, я был годен для кладбища. Я уже не держался на ногах. Я подполз на коленях к единственному окошку, выходившему на дорогу. Первого же встречного я окликнул голосом треснувшего горшка. Чтобы меня понять, ему не требовалось и расслышать. Он взглянул на меня и бросился удирать, осеняя себя крестным знамением. Не прошло и четверти часа, как я имел честь увидеть возле моего дома двух стражей; и мне было запрещено переступать порог оного. Увы, я об этом и не помышлял! Я попросил, чтобы сходили за моим старым приятелем, мэтром Пайаром, нотариусом, в Дорнеси, дабы я мог изъявить свою последнюю волю. Но они так трусили, что боялись даже звука моих речей; и мне кажется, честное слово, что из страха перед чумой они затыкали себе уши! Наконец, один храбрый малыш, «овчий сторож» (славная душа!),— который питал ко мне расположение, потому что я застал его как-то раз объедающим мои вишни и сказал ему: «Эй ты, дроздок, пока ты там, нарви и на мою долю»,— подкрался к окну, послушал и крикнул:

— Господин Брюньон, я сбегаю!

...Что произошло потом, мне было бы весьма трудно вам рассказать. Я помню, что много долгих часов, валяясь на сеннике, в жару, я высовывал язык, как теленок... Щелкание бича, бубенцы на дороге, низкий, знакомый голос... Я думаю: «Пайар приехал»... Пытаюсь подняться... О, силы небесные! Мне показалось,

будто на затылке у меня святой Мартын, а на крестце Самбер. Я сказал себе: «Навались хоть Бассвильские скалы, ты должен встать...» Я хотел непременно, видите ли, оформить (за ночь я успел все это обдумать) некое распоряжение, статью в завещании, которая позволяла бы мне увеличить долю Мартины и ее Глоди так, чтобы мои четыре сына не могли этого оспорить. Я высовываю в окно свою голову, которая весила больше, чем Генриетта, наш большой колокол. Она поникала то вправо, то влево... Я вижу на дороге две милых толстых физиономии, которые испуганно таращат глаза. Это были Антуан Пайар и кюре Шамай. Эти верные друзья, дабы застать меня в живых, прилетели, как молния. Надо сознаться, что, когда они меня увидели, их пламя начало коптить. Желая, очевидно, лучше окинуть взглядом картину, и тот и другой отступили на три шага. И этот проклятый Шамай, чтобы придать мне бодрости, твердил мне:

— Господи, до чего ты плох! Ах, бедный ты мой! Ну, и плох же ты, вот уж плох... Плох, как желтое сало.

Я им говорю (веявшее от них здоровье, наоборот, укрепляло мои жизненные силы):

— Что же вы не заходите? Вам, по-видимому, жарко.

— Нет, спасибо, нет, спасибо! — воскликнули оба.— Здесь нам очень хорошо.

Продолжая отступать, они окопались около повозки; Пайар для виду дергал за уздцы своего ни в чем не повинного коняку.

— А как ты себя чувствуешь? — спросил меня Шамай, который привык беседовать с покойниками.

— Да что уж, дружище, когда человек болен, ему не по себе,— отвечал я, мотая головой.

— Вот естество наше! Видишь, бедный мой Кола,

я всегда тебе говорил. Один бог всемогущ. А мы — дым, тлен. Сегодня в силе, а завтра в могиле. Сегодня скачешь, а завтра плачешь. Ты не хотел мне верить, ты помышлял только о веселье. Выпил вино, пей гущу. Полно, Брюньон, не сокрушайся! Тебя призывает милосердный господь. Ах, мой сын, какая честь! Но, чтобы его узреть, надо приодеться. Дай-ка я тебя омою. Приготовимся, грешный человек.

Я отвечаю:

— Сейчас. Успеем, кюре!

— Несчастный! — говорит он.— Повозка не ждет.

— Ничего,— говорю.— Пойду пешком.

Он всплескивает руками:

— Брюньон, друг мой, брат мой!.. Ах, я вижу, ты все еще привязан к ложным благам земли. Да что же в ней столь приятного? Это лишь тщета, суета, беда, обман, лукавство и кривда, коварная мрежа, западня, скорбь и немощь. Что мы тут делаем?

Я отвечаю:

— Ты мне раздираешь душу. У меня никогда не хватит мужества, Шамай, покинуть тебя здесь.

— Мы увидимся снова,— говорит.

— Что бы нам отправиться вместе!.. Ну, все равно, пойду первым. «Господин де Гюиз имел девиз: всякому свой черед!» Прошу за мной, добрые люди!

Они, казалось, не слышали. Шамай возвысил голос:

— Время проходит, Брюньон, и ты проходишь вместе с ним. Лукавый, «Черный» тебя стережет. Или ты хочешь, чтобы непотребная гадина сцапала твою загрязненную душу для своей кладовки? Ну же, Кола, ну же, прочти Confiteor [1], приготовься, сделай это, мой мальчик, сделай это ради меня, кум!

[1] Каюсь (*лат.*).

— Я это сделаю, говорю, сделаю ради тебя, ради меня и ради него. Боже меня упаси не оказать должного почтения всей компании! Но если позволишь, я бы хотел сперва сказать два слова господину нотариусу.

— Ты их скажешь потом.

— Нет. Сперва господин Пайар.

— Да что ты, Брюньон? Предвечный позади, а первым табеллион!

— Предвечный может обождать или пойти погулять, если ему угодно: мы с ним не разминемся. Но земля меня покидает. Учтивость велит сделать сначала визит тому, кто тебя принимал, а затем уж тому, кто тебя еще только примет... Быть может.

Он настаивал, просил, кричал, грозил. Я не сдавался. Мэтр Антуан Пайар достал свой письменный прибор и, усевшись на тумбу, составил, в кругу зевак и собак, мое духовное завещание. Затем я, честь честью, распорядился своей душой, подобно тому, как распорядился казной. Когда все было кончено (Шамай продолжал свои увещания), я сказал умирающим голосом:

— Батист, передохни. Это все прекрасно, что ты говоришь. Но для человека, которому хочется пить, совет изустный не стоит росы капустной. Теперь, когда моя душа собралась в путь-дорогу, мне нужен посошок. Добрые люди, бутылку!

Ах, славные ребята! Не только добрые христиане, но и добрые бургундцы, как хорошо они поняли мою последнюю мысль! Вместо одной бутылки они принесли мне целых три: шабли, пуйи, иранси. Из окна моего корабля, готового сняться с якоря, я кинул им веревку. Пастушок привязал к ней старую плетеную корзинку,

и я, из последних сил; втащил к себе моих последних друзей.

С этой минуты, лежа на своем сеннике, хоть все и ушли, я чувствовал себя не таким одиноким. Но я не стану пытаться изобразить вам протекшие затем часы. Не знаю как, но я их недосчитываюсь. Должно быть, у меня их стянули с десяток из кармана. Я знаю, что был погружен в пространную бездну с троицей духов в бутылках; но о чем мы говорили, решительно не помню. Тут я теряю Кола Брюньона: куда он мог запропаститься?

Около полуночи я вижу его снова сидящим в саду: плотно уткнувшим зад в гряду жирной, мягкой и свежей земляники и созерцающим небо сквозь ветки невысокой груши. Сколько там, наверху, огней, и сколько здесь, внизу, теней! Луна строила мне рожки. В нескольких шагах от меня куча старых лоз, черных вьющихся и когтистых, казалось, шевелилась, словно змеиное гнездо, и поглядывала на меня с бесовскими ужимками... Но кто мне объяснит, что я тут делаю? Мне кажется (все путается в моих слишком богатых мыслях), что я себе сказал:

— Встань, христианин! Римский император не встречает кончину, зарывшись задницей в перину Sursum corda![1] Бутылки пусты. Consummatum est[2]. Больше здесь нечего делать! Обратимся с речью к капусте!

И еще мне кажется, что я хотел нарвать чесноку, потому что это, как говорят, верное средство от чумы, а может быть, потому, что мне хотелось поддержать честь ног. Что достоверно, так это то, что едва я кос-

---

[1] «Горé имеем сердца!» (*лат.*)

[2] Свершилось (*лат.*).

нулся ногой (а за нею последовало и седалище) кормилицы-земли, как я почувствовал себя охваченным чарами ночи. Небо, подобно огромному дереву, круглому и темному, расстилало надо мной свой ореховый купол. С его ветвей тысячами свисали плоды. Мягко покачиваясь и поблескивая, точно яблоки, звезды зрели в теплом мраке. Плоды моего сада казались мне звездами. Все они наклонялись ко мне, чтобы взглянуть на меня. Я чувствовал, что на меня уставлены тысячи глаз. Тихие смешки пробегали по земляничным грядкам. В гуще дерева надо мной маленькая груша с золотисто-красными щечками пела мне прозрачной и сладкой струйкой голоса:

Кустик хилый
Крепче, милый.
Забирай!
Как побег лозы ползучей,
На меня взбирайся круче,
Чтоб подняться прямо в рай.
Крепче, милый, крепче, милый,
Забирай!

И по всем ветвям земного сада и сада небесного хор тоненьких голосов, шепотливых, щебетливых, шаловливых, повторял.

Крепче, милый, крепче, милый!

Тогда я погрузил руки в мою землю и сказал:

— Хочешь ты меня? Я тебя хочу.

Я в мою добрую землю, жирную и рыхлую, зарылся до локтей; она таяла, словно грудь, а я мял ее коленями и пальцами. Я забрал ее в охапку, я выдавил в ней свой отпечаток, от ступней до лба; я устроил в ней свое ложе, я на нем развалился; растянувшись во весь рост, я глядел на небо с его звездными гроздьями, разинув рот, словно ждал, что которая-нибудь из

звезд капнет мне под самый нос. Июльская ночь пела Песнь песней. Хмельной сверчок кричал, кричал, кричал, не щадя себя. Голос святого Мартына прозвонил двенадцать, а может быть, и четырнадцать, а может быть, и шестнадцать (во всяком случае, это был необычный звон). И вдруг звезды, звезды в высоте и звезды моего сада, ступили в перезвон... О боже, что за музыка! У меня разрывалось сердце, а уши гремели, как стекла в грозу. И я видел из ямы своей возрастающим Иессеево древо: виноградную лозу, совсем прямую, всю оперенную листьями, подымающуюся у меня из чрева; и я подымался вместе с ней; и меня сопровождал весь мой поющий сад; на самой верхней ветке висящая звезда плясала, как потерянная; и, закинув голову, чтобы ее видеть, я лез ее сорвать, голося во все горло:

Смотри, шашла,
Чтоб ты не ушла.
Смелей, Кола!
Она спела!
Богу хвала!

Карабкался я, надо полагать, добрую часть ночи. Ибо распевал я несколько часов кряду, как мне потом сказывали. Распевал я всяческое, духовное и светское и De profundis [1], и эпиталамы, и ноэли, и Laudate [2], фанфары и танцы, назидательные стихи и вольные песенки, и при этом играл на рылях и на волынке, бил в барабан и трубил в рог. Всполошенные соседи держались за животики и говорили:

— Ну и труба! Это Кола душу отдает. Он с ума спятил, он с ума спятил!

[1] «Из глубины взываю к тебе, господи» (*лат.*).
[2] «Хвалите (имя господне)» (*лат.*).

На следующий день, рассказывает, я уважил солнце. Я не оспаривал у него чести встать первым! Было за полдень, когда я проснулся. Ах, с каким удовольствием я увидел себя, друзья мои, на своем гноище! Не то, чтобы постель была мягка или чтобы у меня чертовски болели бока. Но как приятно сознавать, что у тебя еще есть бока! Как? Ты еще здесь, Брюньон, милый мой друг? Дай-ка, я тебя расцелую, сынок! Дай, пощупаю это тело, эту славную мордашку! Это действительно ты. Как я рад! Если бы ты меня покинул, никогда бы я, Кола, не утешился. Привет тебе, мой сад! Дыни мои смеются от удовольствия. Зрейте, голубушки. Но мое созерцание нарушают два болвана, которые орут через забор:

— Брюньон! Брюньон! Помер ты или нет?

Это Пайар и Шамай, которые, ничего больше не слыша, сокрушаются и уже, должно быть, превозносят на дороге мои усопшие добродетели. Я встаю (ай, проклятые бока!), подхожу тихонько, высовываю вдруг голову в окошко и кричу:

— Куку, вот и он!

Они подскакивают, как рыбы.

— Брюньон, ты не умер?

Они плачут и смеются от радости. Я кажу им язык:

— Жив курилка...

Поверите ли вы, что эти изверги продержали меня две недели взаперти в моей башне, пока не уверились, что я совсем здоров! Справедливость велит мне добавить, что они не оставляли меня ни без манны, ни без скальной воды (я разумею Ноеву воду). Они даже завели обычай являться поочередно посидеть у меня под окном, дабы сообщить мне последние новости.

Когда я, наконец, мог выйти, кюре Шамай сказал мне:

— Мой добрый друг, тебя спас великий святой Рох. Ты по меньшей мере обязан сходить его поблагодарить. Сделай это, прошу тебя!

Я ответил:

— По-моему, скорее уж святой Иранси, святой Шабли или Пуйи.

— Хорошо, Кола,— сказал он,— постараемся оба; разрежем грушу пополам. Ты сходи к святому Роху, для меня. А я воздам благодарение святой Бутылке, для тебя.

Когда мы совершали совместно это сугубое паломничество (верный Пайар довершал трио), я сказал:

— Сознайтесь, друзья мои, что вы не так охотно чокнулись бы со мной в тот день, когда я у вас попросил посошок? Вы как будто были не очень расположены мне сопутствовать.

— Я тебя очень любил,— сказал Пайар,— клянусь тебе; но что поделаешь? Себя я тоже люблю. Прав был тот, кто сказал: «Мне мое мясо ближе, чем рубашка».

— Mea culpa, mea culpa [1],— бурчал Шамай, колотя себя в грудь, как в барабан,— я трус, такова уж моя природа.

— Куда ты девал, Пайар, Катоновы уроки? А тебе, кюре, на что послужила твоя религия!

— Ах, мой друг, жить так хорошо! — воскликнули оба с глубоким вздохом.

Тогда мы облобызались все трое, смеясь, и сказали друг другу:

— Порядочный человек не многого стоит. Надо его брать таким, как он есть. Бог его создал, и богу честь.

---

[1] Грешен, грешен (*лат.*).

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

СТАРУХИНА СМЕРТЬ

Конец июля

Я опять начинал чувствовать вкус к жизни. Давалось это мне легко, как вы охотно мне поверите. И даже, сам не знаю как, я находил ее еще более смачной, чем раньше, нежной, рассыпчатой и золотистой, поджаренной в самый раз, хрусткой, упругой на зубах и тающей на языке. Аппетит воскресшего. Вот уж Лазарь, должно быть, сладко ел!..

И вот однажды, когда, весело поработав, я состязался с товарищами Самсоновым оружием, вдруг входит крестьянин, пришедший из Морвана.

— Мэтр Кола,— говорит он,— я позавчера видел вашу хозяйку.

— Мошенник! — говорю я.— Тебе везет! А как старуха поживает?

— Очень хорошо. Она собирается в путь.

— Куда это?

— И очень спешно, сударь, в лучший мир.

— Он перестанет им быть,— замечает один скверный шутник.

А другой:

— Она уходит. Ты остаешься. За твое здоровье, Кола. Удача никогда не приходит одна.

Я, чтобы не отставать от других (а все-таки я был расстроен), я отвечаю:

— Выпьем! К человеку милостив всевышний, если берет от него жену, когда она стала лишней.

Но вино показалось мне вдруг кисловатым, я не мог допить стакана; и, взяв палку, ушел, даже ни с кем не попрощавшись. Они кричали:

— Куда ты? Какая муха тебя укусила?

Я был уже далеко, я не ответил, сердце у меня ныло. Видите ли, можно не любить свою старуху, злиться друг на друга день и ночь, целых двадцать пять лет, но в час, когда за ней приходит курносая, за той, которая, прижатая к вам в тесной кровати, столько времени мешала свой пот с вашим потом и в тощей утробе своей растила семя рода, вами посеянное, вы чувствуете, как что-то сжимает вам горло; словно кусок вас самих отваливается; и пусть он некрасив, пусть он вас порядком стеснял, болеешь о нем, болеешь о себе, жалко и себя и его... Любишь его, прости господи...

Пришел я на следующий день, в сумерки. С первого же взгляда я увидел, что великий ваятель хорошо поработал. Сквозь истертый полог истрескавшейся кожи трагически проступало лицо смерти. Но еще более верным знаком конца было для меня то, что, увидав меня, она сказала:

— Бедный ты мой, ты не слишком устал?

При этих добрых словах, которые всего меня передернули, я подумал:

«Дело ясное. Старушке конец. Она подобрела».

Я сел возле нее и взял ее за руку. Она была так слаба, что не могла говорить, и благодарила меня взглядом за то, что я пришел. Чтобы ее подбодрить, стараясь шутить, я рассказал, как я оставил с носом чересчур нетерпеливую чуму. Она ничего об этом не знала. Это настолько ее взволновало (этакий я косолапый!), что она лишилась чувств, чуть душу не отдала. Когда она пришла в себя, к ней вернулся ее язы-

чок (слава тебе, господи!) и вернулась злоба. И вот она принимается, запинаясь и лепеча (слова не желали выходить или выходили не такие, как она хотела; тогда она злилась), и вот она принимается меня допекать, говоря, что это стыд, что я ничего ей не сказал, что я бессердечный человек, что я хуже собаки, что, как вышеназванная, я заслужил того, чтобы околеть от рези один-одинешенек, на своем гноище. И еще всякими другими ласковыми словами наградила она меня. Ее старались успокоить. Мне говорили:

— Уйди ты! Ты же видишь, ты ее волнуешь. Выйди на минуту!

Но я рассмеялся, нагнувшись к ее кровати, и сказал:

— В добрый час! Я тебя узнаю! Есть еще надежда. Ты все такая же злая...

И, взяв в свои большие ладони ее голову, ее старую, трясущуюся голову, я от всего сердца поцеловал ее дважды в обе щеки. И она опять заплакала.

И вот мы остались, спокойно и молча, совсем одни в комнате, где в стене жучок-часовщик отстукивал сухое тиканье предсмертных минут. Все остальные вышли в соседний покой. Она тяжело дышала, и я увидел, что ей хочется говорить.

Я сказал:

— Ты, старушка, не утомляй себя. За двадцать пять лет обо всем переговорено. Понимаем друг друга без слов.

Она сказала:

— Ничего не переговорено. Мне надо сказать, Кола; иначе рай... куда я не попаду...

— Попадешь, попадешь,— говорю.

— ...Иначе рай будет для меня горше адской желчи. Я была с тобой, Кола, резка и бранчлива...

— Да нет же, да нет же,— говорю.— Чуточку кислоты только полезно.

— ...Ревнива, вспыльчива, сварлива, груба. Своим дурным настроением я наполняла весь дом; и чего я только с тобой не выделывала...

Я похлопал ее по руке:

— Ничего. У меня кожа толстая.

Она продолжала чуть слышно:

— Но это потому, что я тебя любила.

— А я и не знал! — сказал я, смеясь.— Что ж, у всякого своя манера. Но отчего ж ты мне не сказала? Догадаться было не так-то легко.

— Я тебя любила; а ты меня не любил. Поэтому ты был добрый, а я была злая; я тебя ненавидела за то, что ты меня не любишь; а тебе было все равно... У тебя был твой вечный смех, Кола, тот же самый, что и сейчас... Боже мой, и настрадалась же я из-за него! Ты в него закутывался, как от дождя; и сколько я ни проливалась дождем, никогда-то мне не удавалось промочить тебя, разбойник. Ах, как ты мне делал больно! Много раз, Кола, я готова была помереть.

— Женушка ты моя, говорю, ведь я же не люблю воды.

— Вот ты опять смеешься, мошенник!.. Что ж, это хорошо. Смех согревает. Вот, сейчас, когда земляной холод поднимается у меня по ногам, я чувствую всю цену твоему смеху; ссуди меня твоим плащом. Смейся вволю, милый мой; я на тебя больше не сержусь; а ты, Кола, прости меня.

— Ты была хорошая жена,— сказал я,— честная, стойкая и верная. Может быть, не каждый день ты бы-

ла так уж мила. Но никто не совершенен; это было бы неуважением к тому, там, в небесах, кто один совершенен, говорят (сам я не видал). И в черные часы (не в ночные часы, когда все кошки серы, а в годы бед и тощих коров) ты была совсем уж не так безобразна. Ты была храброй, ты ни разу не отфыркнулась от работы; и твоя угрюмость казалась мне почти прекрасной, когда ты обращала ее против злой судьбы, не отступая ни на шаг. Но не будем больше мучиться прошлым. Достаточно того, что мы его раз снесли, не споткнувшись, не крикнув, не заклеймив себя стыдом. Что сделано, то сделано, и этого не переделаешь. Ноша сложена наземь. И теперь дело хозяина взвесить ее, если ему угодно. Нас это уже не касается. Уф! Передохнем, старина! Нам теперь остается отстегнуть ремни, натрудившие нам спину, растереть онемевшие пальцы, затекшие плечи и вырыть себе яму в земле, чтобы уснуть, разинув рот и храпя, как орган,— Requlescat![1] Мир тем, кто поработал! — великим сном Вечности.

Она слушала меня, закрыв глаза, скрестив руки. Когда я кончил, она открыла глаза, протянула мне руку.

— Мой друг, покойной ночи. Завтра ты меня разбудишь.

И уронила руку.

Затем, как женщина порядливая, она вытянулась на кровати во весь рост, натянула на себя простыню до самого подбородка, так, чтобы не оставалось ни единой складки, прижала распятие к пустым грудям, затем, как женщина решительная, с заостренным носом, с неподвижным взглядом, готовая в дорогу, стала ждать.

---

[1] «Да упокоится» (*лат.*).

Но, видно, ее старым костям, прежде чем изведать покой, суждено было еще в последний раз пройти, чтоб очиститься, сквозь беду этот земной огонь (таков наш жребий). Ибо в эту самую минуту отворилась дверь, и хозяйка, вбежав в комнату, крикнула, задыхаясь:

— Скорее! Идите сюда, мэтр Кола!

Я спросил, недоумевая:

— В чем дело? Говорите потише.

Но она, на своей кровати, уже собравшаяся в дальний путь,— словно ей с высоты ее повозки видно было поверх наших голов то, чего не было видно мне,— она приподнялась на смертном ложе, оцепенелая, как тот, которого разбудил Иисус, протянула к нам руки и воскликнула:

— Моя Глоди!

Тут понял и я, пронзенный этим криком и хриплым кашлем, донесшимся из-за стены. Я бросился туда и застал мою бедную ласточку, которая со сдавленным горлом, силясь разжать ручонками душивший ее узел, вся красная и горячая, взывала о помощи растерянными глазами и билась, как раненая птичка.

Что это была за ночь, я не могу рассказать. Еще и сейчас, когда меня от нее отделяют пять полных дней, стоит мне вспомнить, как у меня ноги подкашиваются; я должен сесть. Ух, дайте перевести дух... Неужели же есть в небе хозяин, которому нравится медленно мучить эти маленькие создания, чувствовать, как под его пальцами хрустят эти хрупкие шейки, видеть, как они мечутся, и сносить их удивленно-укоризненные взгляды! Я понимаю, что можно дубасить старых ослов вроде меня, делать больно тому, кто способен защититься, здоровенным дядям, коренастым теткам. Если тебе приятно, когда мы орем, изволь, господи боже, попро-

буй! Человек — твое подобие. Что ты, как и он, не всякий день бываешь добр, что ты взбалмошен, коварен, любишь иной раз навредить из желания разрушить, испытать свою силу, от избытка крови, потому что ты не в духе или просто от нечего делать,— это меня в конце концов не так уж удивляет. В наши годы мы за себя постоим; когда ты нас изводишь, мы это умеем тебе сказать. Но выбирать себе мишенью этих бедных ягняток, у которых, пожми им нос, закаплет молоко, это, брат, ни-ни! Это уж слишком, этого мы не допустим! Бог или король, кто так поступает, тот превышает свою власть. Мы тебя предупреждаем, всевышний, если ты вздумаешь продолжать, мы очень скоро будем вынуждены, к великому нашему сожалению, тебя развенчать... Но только я не хочу верить, чтобы это было делом твоих рук, я слишком тебя уважаю. Если возможны такие злодейства, отец наш, то одно из двух: или у тебя нет глаз, или ты не существуешь... Ай, вот неуместное слово, беру его назад! Что ты существуешь, доказывается уже тем, что вот мы с тобой сейчас беседуем. Сколько у нас с тобой бывало споров! И, между нами говоря, сударь мой, сколько раз я принуждал тебя умолкнуть! А в эту зловещую ночь, как я тебя звал, поносил, стращал, отвергал, просил, умолял! Как я воздевал к тебе сложенные руки и грозил тебе стиснутым кулаком! Это ничему не помогло, ты глазом не моргнул. Во всяком случае, ты не станешь отрицать, что я всячески старался тебя тронуть! Но раз ты не желаешь, черт возьми, раз тебе не угодно меня услышать, покорнейший слуга, тем хуже для тебя, господи мой боже! Мы знаем и других, обратимся в другое место...

Мы со старой хозяйкой были одни при больной. Мартина, у которой начались в дороге родовые схват-

ки, осталась в Дорнеси, поручив Глоди бабушке. Когда мы увидели наутро, что наша маленькая мученица кончается, мы прибегли к крайним средствам. Я взял на руки ее разбитое тельце, легче перышка (оно уже не билось даже и, свесив голову, только порывисто вздрагивало, как воробышек). Я взглянул в окно. Ветер и дождь. Роза на стебле свешивалась к стеклу, словно войти хотела. Предвестие смерти. Я перекрестился и, несмотря ни на что, вышел. Сырой, резкий ветер так и вломился в дверь. Я прикрыл рукой голову моей касатки, боясь, как бы вихрь не задул лампадку. Мы пошли. Впереди шагала хозяйка, неся дары. Мы вступили в придорожный лес и вскоре увидели, на краю болота, дрожащую осину. Над полчищами диких камышей она царила, высокая и прямая, как башня. Мы обошли ее кругом раз, другой, третий. Малютка стонала, и ветер в листве стучал зубами, как она. Ручонку девочки мы обвязали лентой, другой конец прикрепили к ветви старого, дрожащего дерева, и мы с беззубой хозяйкой принялись повторять:

Дрожи вся, дрожи сплошь,
Перейми мою дрожь.
Прошу тебя об этом
Перед целым светом
И пресвятою троицей,
А если не устроится,
О чем тебя молю.
Берегись, срублю!

Затем старуха вырыла посреди корней яму, вылила туда кружку вина, положила две головки чесноку, ломоть сала, а сверху грош. Еще три раза обошли мы вокруг моей шапки, положенной наземь и набитой камышом. При третьем разе мы в нее плюнули твердя:

— Жабы болотные, жирные, плотные, жаба вас удави!

Потом, на обратном пути, у лесной опушки, мы опустились на колени перед кустом боярышника; к его ногам положили ребенка и, во имя святого терновника, помолились сыну божьему.

Когда мы, наконец, вернулись домой, малютка казалась мертвой. Во всяком случае, мы сделали все, что могли.

Меж тем моя жена не желала помирать. Любовь к Глоди привязывала ее к жизни. Она металась, крича:

— Нет, я не уйду, господи Иисусе, Мария дева, пока не узнаю, что вы с ней решили сделать и должна она или не должна поправиться. А только она поправится, ей-же-ей, я этого хочу. Я этого хочу, хочу и хочу; сказано, и конец.

Но, по-видимому, это не совсем еще было сказано; потому что, сказав, она начинала сызнова. Ну и духу же в ней было! А я-то думал, что она вот-вот испустит последний! Если это был последний, то и здоровенный же он был... Брюньон, скверный человек, ты смеешься, тебе не стыдно? Что ж делать, милые друзья? Таков уж я. Я могу смеяться и все-таки страдать; зато французу для смеха и страданье не помеха. И, плачет он или хохочет, он прежде всего видеть хочет. Да здравствует Janus bifrons[1] с вечно открытыми глазами!..

Итак, мне было вовсе не легко слышать, как она надсаживается и надрывается, бедная старушка; и хоть я и томился не меньше ее, мне хотелось ее успо-

---

[1] Двуликий Янус (*лат.*).

коить, я говорил ей такие слова, какие говорят детишкам малым, и ласково кутал ее одеялом. Но она яростно отбивалась, крича:

— Дармоед! Если бы ты был мужчина, разве бы ты не нашел средства, как ее спасти? Себя-то ты спасти сумел. На что ты годен? Это тебе надо было умереть.

Я отвечал:

— Что ж, я с тобой согласен, старуха, ты права. Я бы отдал свою шкуру, если бы кто-нибудь ее пожелал. Но, видно, на том свете она не нужна: поношена, отслужила свое. Я гожусь (это правда), как и ты, только на то, чтобы страдать. Будем же страдать молча. Быть может, это зачтется, и меньше останется на долю невинной крошки.

Тогда ее старая голова прильнула к моей, и соль наших глаз смешалась у нас на щеках. В комнате чувствовалась нависшая тень от крыльев архангела смерти...

И вдруг он исчез. Вернулся свет. Кто сотворил это чудо? Всевышний ли бог, или боги лесов. Иисус, милосердный ко всем несчастным, или грозная земля, которая наводит и отводит недуги, была ли то сила молитв, или страх моей жены, или то, что я задобрил осину? Но этого никогда не узнать; и в неведении моем я возношу благодарения (оно вернее) всей компании, присоединяя к ней и тех, кого я даже и не знаю (они-то, может быть, и есть самые лучшие). Как бы там ни было, достоверно одно, и только оно для меня и важно,— это, что с этой минуты жар спал, дыхание заструилось в хрупкой гортани, как легкий ручеек; и моя маленькая покойница, выскользнув из объятий архангела, воскресла.

Тут мы почувствовали, как тают наши старые сердца. Мы запели: «Nunc dimittis[1], господи!..», и моя старуха, поникнув со слезами радости, уронила голову на подушку, словно камень, который уходит в землю и вздохнула:

— Теперь я могу идти!..

И сразу взгляд ее потерялся, лицо провалилось, словно разом отлетело дыхание. А я, склонившись над кроватью, где ее уже не было, глядел словно в глубь речного омута, где очертания исчезнувшего тела остаются на миг запечатленными и пропадают кружась. Я закрыл ей веки, поцеловал ее в восковой лоб, сложил вместе ее трудолюбивые руки, ни разу, не отдохнувшие за всю жизнь; и, без печали, покинув угасшую лампаду, где выгорело масло, я подсел к новому огоньку, который должен был отныне озарять дом. Я смотрел, как малютка спит; я стерег ее сон с растроганной улыбкой и думал (как помешать думам?):

«Не странное ли дело, что так вот привязываешься к такому маленькому существу? Без него словно и нет ничего. А с ним все хорошо, даже самое плохое, все равно. Да, пусть я умру, бери меня, черт, в свою дыру! Лишь бы она жила, она, на остальных мне наплевать! Однако как же это так? Вот я, живой и здоровый, хозяин своих пяти чувств, и еще нескольких на придачу, и прекраснейшего из всех, его светлости — моего разума; я никогда не брюзжал на жизнь, в утробе у меня десять локтей пустых кишок, всегда готовых ее почествовать, у меня ясная голова, верная рука, сильные ноги и легкий шаг, я работник спорый, бургундец матерый; и вдруг я готов всем этим пожертвовать

[1] «Ныне отпущаеши» (*лат.*).

ради какой-то маленькой твари, которой я даже не знаю? Потому что ведь, в сущности, что она такое? Славная зверюшка, забавная игрушка, молоденький попугай, существо, которое пока ничего, но которое чем-то *будет,* может быть... И ради этого «может быть» я стану расточать мое: «Я есмь, я есмь я, и мне у себя хорошо внутри, черт побери!» Да ведь в том-то и дело, что это «может быть» — это мой лучший цветок, тот, ради которого я живу. Когда черви обгложут мои кости, когда мое тело истлеет на жирном погосте, я воскресну, господи, в другом «я», которое будет красивее, лучше и счастливее... А почем я знаю? Почему оно будет лучше меня? Потому что оно ногами станет мне на плечи и будет видеть дальше, шагая над моей могилой... О вы, исшедшие из меня, вы, что будете впивать свет, который уже не омоет мои глаза, его любившие, вашими глазами я вбираю урожай грядущих дней и ночей, я вижу смену годов и веков, я наслаждаюсь и тем, что я предчувствую, и тем, что мне неведомо. Все проходит мимо меня; но я сам иду вперед; и иду все дальше, иду все выше, несомый вами. Дальше жизни моей, дальше нивы моей тянутся борозды; они обнимают землю, они охватывают пространство; подобно Млечному Пути, они покрывают сетью весь лазурный свод. Вы — моя надежда, вы — мое желание, вы — мои семена, которые я кидаю в грядущие времена».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

СОЖЖЕННЫЙ ДОМ

Середина августа

Отмечать ли нам сегодняшний день? Это черствый кус. Он еще не совсем переварен. Ничего, старина, не унывай! Так он легче пройдет.

Говорят, с летним дождем богатства ждем. Если так, то я должен бы быть богаче Креза: потому что нынче летом на меня так и хлещет; а я меж тем наг и бос, как Иван Креститель. Не успел я выдержать это двойное испытание,— Глоди исцелилась и жена моя также, одна от болезни, другая от жизни,— как силы, правящие миром (видно, в небесах какая-то женщина на меня зла; и что я ей сделал?.. Она меня любит, не иначе!), обрушились на меня бешеным натиском, из которого я вышел голым, избитым, так что кости ноют, но (в конце концов это главное) все они целы.

Хоть внучка моя совсем уже поправилась, я не торопился к себе домой; я оставался возле нее, наслаждаясь ее выздоровлением еще больше, чем она сама. Когда выздоравливает ребенок, то словно созерцаешь сотворение вселенной; весь мир точно свежеснесенный молочный. Итак, я прохлаждался, рассеянно прислушиваясь к новостям, которые заносили, идя на рынок, кумушки. Как вдруг однажды я насторожился, старый осел, завидевший дубинку погонщика. Говорили, что в Кламси горит Бевронское предместье и что дома пылают, как хворост. Никаких подробностей мне так и не удалось добиться. С этой минуты я сидел, из

симпатии, как на угольях. Как меня ни успокаивали.

— Да ты не волнуйся! Дурные вести не сидят на месте. Если бы дело касалось тебя, ты бы давно уже знал. Причем тут твой дом? Ослов в Бевроне много...

Меня разбирала тревога, я твердил себе:

— Это он... Он горит, я чую гарь...

Я взял палку и пошел. Я думал:

«Какой же я дурак! Ведь это я в первый раз ушел из Кламси, ничего не спрятав! Иначе всегда, когда приближался враг, я уносил из стены, по ту сторону моста, моих ларов, мои деньги, создания моего искусства, которыми я особенно горжусь, мои орудия, и домашний скарб, и всякий хлам, некрасивый, неудобный, но которого не отдал бы за все золото мира, потому что это священные воспоминания нашего убогого счастья... А тут я все оставил...»

И я слышал, как с того света моя старуха разносит меня за глупость. А я ей отвечал:

— Сама виновата, это из-за тебя я так торопился!

Основательно с ней погрызшись (как-никак, часть пути мне было занятие), я начал убеждать и ее и себя, что тревожиться мне не о чем. Но, несмотря ни на что, все та же мысль, как муха, упорно садилась мне на нос; я видел ее все время; холодный пот струился у меня вдоль спины и ребер. Шел я быстро. Я уже миновал Вилье и начал подниматься вдоль лесистого склона, как вдруг вижу, едет по косогору тележка, а в ней отец Жожо, мельник из Муло, который узнает меня, останавливается, взмахивает кнутом и кричит:

— Бедный ты человек!

Меня словно в живот ударило. Я так и стал, разинув рот, у края дороги. Он продолжает.

— Куда ты идешь? Поворачивай, Кола! Не ходи в город. Только зря расстроишься. Все сожжено, снесено. Ничего у тебя не осталось.

Этот скот каждым своим словом переворачивал во мне кишки. Я решил не распускаться, проглотил слюну, подтянулся, сказал:

— Я это знаю!

— В таком случае,— сказал он обиженно,— что ж ты там думаешь найти?

Я отвечаю:

— Остатки.

— Ничего не осталось, говорю тебе, как есть ничего, ни луковицы.

— Жожо, ты преувеличиваешь; я никогда не поверю, чтобы мои два подмастерья и мои добрые соседи стали смотреть, как горит мой дом, и не попытались вытащить из огня хоть несколько каштанов, хоть кое-какие вещи, по-братски...

— Твои соседи, несчастный? Да это они и подожгли!

Это меня доконало. Он сказал, торжествуя:

— Вот видишь, ничего-то ты не знаешь!

Я стоял на своем. Но он, убедившись, что первым сообщает мне злую весть, начал, довольный и сокрушенный, свое повествование о том, как меня изжарили.

— Это все чума,— сказал он.— Они все с ума посходили. И зачем только все эти господа управские и окружные, старшины, прокуроры нас покинули? Пастухов нет. Бараны взбесились. Когда в Бевроне объявились новые заболевания, стали кричать: «Спалим зачумленные дома!» Сказано — сделано. Так как тебя не было, то, понятное дело, начали с твоего. Старались усердно, каждый подсоблял, считали, что трудятся на пользу города. И потом один другого разза-

доривает. Когда принимаешься разрушать, делается что-то непонятное; пьянеешь, удержу нет, нельзя остановиться... Когда они подожгли, они пустились плясать вокруг. Это было сумасшествие какое-то... «На Бевронском мосту люди пляшут, люди пляшут...» Если бы ты их видел... «Посмотри, как пляшут...» Если бы ты их видел, ты, может быть, и сам пустился бы с ними в пляс. Можешь себе представить, как все это дерево у тебя в мастерской пылало, стреляло... Словом, сожгли все.

— Мне бы хотелось на это посмотреть. Должно быть, красиво было,— сказал я.

Я действительно так думал. Но я думал также: «Я погиб! Они меня убили».

Только этого я ему не стал говорить.

— Так тебе это нипочем? — спросил он с недовольным видом.

(Он меня очень любил, милый человек; но все-таки приятно бывает — такова уж человеческая природа! — увидеть иногда соседа в беде; хотя бы ради удовольствия его утешить.

Я сказал:

— Жаль, что для такого славного костра не подождали до Ивановой ночи.

Я собрался идти.

— Так ты все-таки идешь?

— Иду. Прощай, Жожо.

— Ну и чудак!

Он стегнул лошадь.

Я шагал, или, скорее, делал вид, что шагаю, пока тележка не скрылась за поворотом. Я бы не прошел дальше и десяти шагов, ноги у меня отнялись, я рухнул на камень, словно сел на горшок.

Минуты, которые затем последовали, были скверные минуты. Мне уже не требовалось хорохориться. Я мог быть несчастным, несчастным всласть. Я в этом себе и не отказывал. Я думал:

«Я все потерял: свой кров и с ним надежду когда-либо его воссоздать; свои сбережения, накопленные день за днем, грош за грош, медленным трудом, который есть лучшее из наслаждений; воспоминания моей жизни, въевшиеся в стены, тени прошлого, подобные светочам. И я потерял гораздо большее, я потерял свою свободу. Куда мне теперь деваться? Мне придется поселиться у кого-нибудь из моих детей. А ведь я клялся, что меня никогда не постигнет такая беда! Я их люблю, само собой; они меня любят, конечно. Но я не настолько глуп, чтобы не знать, что всякая птица должна сидеть в своем гнезде и что старшие стесняют младших и сами стеснены. Всякий заботится о своих яйцах, о тех, которые он снес, а до тех, откуда он вышел сам, ему больше нет дела. Старик, который упорно продолжает жить, становится помехой, если он суется в молодой выводок; и сколько бы он ни старался держаться в стороне, ему подобает уважение! К черту уважение! Это причина всех бед: из-за него равенства нет. Я делал все возможное, чтобы моих пятерых детей не душило уважение ко мне; и это мне, я бы сказал, удалось; но что бы вы ни делали и как бы они вас ни любили, они всегда будут смотреть на вас слегка как на чужого: вы пришли из краев, где они не родились, а вы не узнаете тех стран, куда они идут; так как же вам вполне понять друг друга? Вы друг друга стесняете, и вас это сердит. И потом страшно сказать: человек, которого больше всего любят, должен меньше всего подвергать испытанию любовь

своих близких — это значило бы искушать бога. Нельзя слишком многого требовать от нашей человеческой природы. Хорошие дети хороши; мне жаловаться не на что. И они еще лучше, если не приходится к ним обращаться. Я бы мог многое рассказать на этот счет, если бы хотел. Словом, у меня есть гордость. Я не люблю отнимать пирог у тех, кому я его дал. Я словно говорю им: «Платите!» Куски, которые я не заработал сам, застревают у меня в горле; мне кажется, будто чьи-то глаза считают каждый мой глоток. Я желаю быть обязанным только моим трудам. Мне надо быть свободным, быть хозяином в своем доме, входить, выходить, когда вздумается. Я никуда не гожусь, когда чувствую себя униженным. О, горе быть старым, зависеть от милости близких, это еще хуже, чем зависеть от сограждан: потому что близкие вынуждены оказывать вам милость; никогда не знаешь, по доброй ли воле они это делают; и предпочел бы околеть, лишь бы не стеснять их».

Так я стонал, уязвленный в своей гордости, в своих привязанностях, в своей независимости, во всем любимом, в воспоминаниях былого, рассеявшихся дымом, во всем, что во мне было и лучшего и худшего; и я знал, что все равно, как бы я ни возмущался, мне придется пойти этим единственным путем. Должен сознаться, что вел я себя отнюдь не как философ. Я чувствовал себя жалким, словно дерево, срубленное под корень и рассеченное на куски.

Сидя на своем горшке и отыскивая по сторонам, за что бы зацепиться, я увидел невдалеке застланную кудрями деревьев, окаймлявших въезд, зубчатую башенку замка Кенси. И мне сразу вспомнились все чудесные работы, которые я за четверть века там разме-

стил, мебель, панели, резная лестница, все, что этот добрый сеньор Фильбер мне заказывал... Удивительный чудак! Иной раз он меня бесил чертовски. Ведь взбредило же ему в один прекрасный день, чтобы я изваял его любовниц в костюме Евы, а его самого в одеянии Адама, Адама игривого, предприимчивого, уже после явления змея! А в оружейной палате, ведь вздумалось же ему, чтобы оленьи головы, изваянные в виде трофея, изображали физиономии честных местных рогачей? Похохотали мы с ним вдоволь... Но угодить этому черту было нелегко... Бывало, кончишь — и начинай сначала. А что до денег, то видать их было редко... Да это неважно! Он умел любить все красивое, будь оно из дерева или из плоти, и почти что одинаковым образом (и это правильно: создание искусства надо любить, как любишь свою милую, страстно, душой и телом). И если он, ворыга, мне и не доплатил, то зато он меня спас! Потому что, хоть там я и погиб, здесь я уцелел. Дерево моего прошлого разрушено: но у меня остались его плоды; они защищены от холода и огня. И мне захотелось снова их увидеть и впиться в них зубами тотчас же, чтобы вернуть себе вкус к жизни.

Я вошел в замок. Там меня хорошо знали. Хозяина не было дома; но, сославшись на то, что мне якобы нужно сделать обмеры для новых работ, я направился туда, где знал, что найду свои детища. Я уже несколько лет их не видал. Пока художник чувствует силу в чреслах, он родит и не вспоминает о рожденном. К тому же последний раз, что я хотел войти, господин де Кенси с каким-то странным смешком меня не впустил. Я решил, что у него, должно быть, спрятана какая-нибудь особа, какая-нибудь замужняя женщина, и так как я был вполне уверен, что это не моя

жена, то я не стал волноваться. И потом с причудами этих вельможных скотов не спорят: оно благоразумнее. В Кенси никто и не старается понять хозяина: у него мозги не совсем в порядке.

Итак, я смело пошел по главной лестнице. Но не сделал я и десяти шагов, как остолбенел, подобно Лотовой жене. Виноградные гроздья, персиковые ветви и цветущие лианы, обвивавшиеся вокруг резных перил,— все это было грубо искромсано ножом. Я не верил своим глазам, я обхватил ладонями несчастных калек; я ощутил пальцами начертания их ран. Со стоном, задыхаясь, я бросился наверх: я страшился того, что увижу!.. Но это превзошло мои ожидания.

В столовой, в оружейной, в спальне, у всех фигур на мебели и на панелях были отрезаны то нос, то рука, то нога, то фиговый листок. На стенках сундуков, на каминах, на стройных бедрах резных колонн виднелись, как раны, глубокие надписи ножом, имя владельца, какая-нибудь идиотская мысль или же день и час этой Геркулесовой работы. В глубине большой галереи моя красивая Ионнская нимфа, опирающаяся коленом на шею мохнатой львицы, послужила мишенью, ее живот был продырявлен аркебузными выстрелами. И повсюду, куда ни взглянешь, все изломано и изрезано, настроганные стружки, чернильные и винные пятна, намалеванные усы или грязные шутки. Словом, все, что скука, все, что одиночество, все, что гаерство и тупость могут подсказать несуразного мозгам богатого идиота, который сам не знает, что придумать, сидя у себя в замке, и, ни на что не способный, умеет только разрушать... Будь он здесь, мне кажется, я бы его убил. Я стонал, я глухо сипел. Я долго не мог ничего вымолвить. Шея у меня стала вся ба-

гровая, и жилы на лбу вздулись; я вылупил глаза, как рак. Наконец, несколько ругательств вырвалось-таки наружу. Пора было! Еще немного, и я бы задохся... Раз пробку выбило, уж я дал себе волю, бог мой! Десять минут кряду, не переводя духа, я поминал всех богов и изливал свою ненависть:

— У, собака,— кричал я,— на то ли я привел в твою берлогу моих чудесных детей, чтобы ты их замучил, изуродовал, изнасиловал, перепачкал и запакостил! Увы, мои дорогие малютки, рожденные в радости, вы, в ком я видел своих наследников, кого я создал здоровыми, сильными и крепкими, с мясистыми телами, где все было на месте, вы, сработанные из такого дерева, что жить бы вам тысячу лет, в каком виде я вас застаю, изувеченными, искалеченными, сверху, снизу, спереди и сзади, с носа и с кормы, с погреба и с чердака, исполосованными, как шайка старых громил, вернувшихся с войны! И неужто я отец всей этой богадельни!.. Великий боже, услышь меня, даруй мне милость (быть может, мою молитву ты считаешь излишней) попасть после смерти не в рай твой, а в ад, к самому вертелу, где Люцифер поджаривает проклятые души, чтобы моя рука ворочала и так и этак палача моих детей, проткнутого через задний проход!

Но тут старый Андош, знакомый мне лакей, попросил меня прервать мои вопли... Подталкивая меня к дверям, этот почтенный человек пытался меня утешить.

— Виданное ли дело,— говорил он,— приходить в такое состояние из-за каких-то деревяшек! Что бы ты сказал, если бы тебе пришлось жить, как нам, с этим сумасшедшим? Не лучше ли, чтобы он потешался (это его право) над досками, за которые он тебе заплатил, чем над добрыми христианами, как мы с тобой.

— Эх,— отвечал я,— пусть он тебя лупит на здоровье! Ты думаешь, я бы не дал себя выпороть за любую из этих деревяшек, оживленных моими пальцами? Человек — ничто; свято его создание. Трижды убийца — убивающий мысль!

Я бы еще многое мог сказать, и не менее красноречиво; но я увидел, что мои слушатели ничего не поняли и что я для Андоша едва ли не такой же сумасшедший, как его хозяин. И когда я при этом еще раз обернулся на пороге, чтобы окинуть последним взглядом поле сечи, вдруг мысль о том, как все это смешно: и мои бедные безносые боги, и их Аттила, и Андош с его спокойными глазами, жалеющими меня, и я сам, старый дурак, даром тратящий слюну на стоны и на монолог, который слышит только потолок,— вдруг мысль о том, как все это смешно, пронеслась у меня в голове... фрррт... как ракета; так что, сразу позабыв и гнев и горе, я рассмеялся в лицо опешившему Андошу и вышел вон.

Я был снова на дороге. Я думал:

«На этот раз они отняли у меня все. Меня можно закапывать в землю. У меня ничего не осталось, кроме моей шкуры... Да, черт возьми, но осталось и то, что в ней. Как у того осажденного, который, на угрозу убить его детей, если он не сдастся, отвечал: «Изволь! У меня здесь при себе орудие, чтобы наделать новых»,— мое орудие со мной, черт побери, его у меня не отняли, его у меня не отнять... Мир — бесплодная равнина, где, местами, колосятся нивы, засеянные нами, художниками. Звери земные и небесные клюют их, жуют и топчут. Бессильные творить, они умеют только убивать. Грызите и уничтожайте, скоты, попирайте ногами мою рожь, я выращу новую. Колос зре-

лый, колос мертвый, что мне жатва? Во чреве земли бродят новые семена. Я то, что будет, а не то, что было. И в день, когда моя сила угаснет, когда у меня не будет больше моих глаз, моих мясистых ноздрей и глотки под ними, куда спускаешь вино и где так хорошо подвешен мой неугомонный язык, когда у меня не будет больше моих рук, ловкости моих пальцев и моей свежей мощи, когда я буду очень стар, бескровен и бестолков... в этот день, Брюньон, меня уже не будет. Да ты не беспокойся! Разве можно себе представить Брюньона, который перестал бы чувствовать, Брюньона, который перестал бы творить, Брюньона, который перестал бы смеяться, у которого не летели бы искры из-под копыт? Нельзя; это будет значить, что от него остались одни штаны. Можете их спалить. Берите мои обноски...»

И с этими словами я зашагал в Кламси. Когда я взобрался на перевал, этаким петушком, играя посошком (скажу, не требуя похвал, уже я меньше горевал), я вижу вдруг — бежит мне навстречу белокурый человечек, бежит и плачет; это был Робине, он же Бине, мой ученичок. Мальчуган тринадцати лет, который за работой обращал больше внимания на мух, чем на урок, и время проводил не столько в доме, сколько на дворе, кидая камешки в воду или заглядываясь на девичьи икры. Я потчевал его подзатыльниками раз двадцать в день. Но ловок он был, как обезьяна, хитер; пальцы у него были шустрые, как он сам, отличные работники; и мне нравились, несмотря ни на что, его вечно разинутый рот, его зубы, как у маленького грызуна, его худые щеки, его острые глаза и вздернутый носик. И он это знал, шельмец! Я мог сколько угодно поднимать кулак и метать грозу; он

чувствовал улыбку в Юпитеровом глазу. И когда я, бывало, дам ему подзатыльник, он встряхнется невозмутимо, как ослик, и опять за свое. Это был сущий бездельник.

Поэтому я был немало удивлен, когда увидел его во образе фонтанного тритона, заливающимся крупными слезами, которые, как спелые груши, падали у него из глаз и из носу. И вдруг он кидается ко мне и обхватывает меня поперек живота, орошая мне пах слезами и мыча. Я ничего не понимаю, я говорю ему:

— Эй, как тебя? Что это с тобой? Да отпусти же меня! Надо, черт возьми, сперва высморкаться, а потом уже целоваться.

Но он, вместо того чтобы перестать, все так же обхватив меня, сползает вдоль моих ног, как с дерева, наземь и ревет еще пуще. Я начинаю беспокоиться:

— Послушай, мальчонка! Да встань же ты! Что такое с тобой?

Я беру его под локти, поднимаю... гоп-ля!.. и вижу, что у него одна рука обмотана и сквозь тряпки сочится кровь, одежда в клочьях и брови опалены. Я говорю (я уже и забыл про свои дела):

— Пострел, ты опять что-нибудь набедокурил?

Он стонет:

— Ах, хозяин, мне так тяжело!

Я усаживаю его рядом с собой, на откос. Говорю:

— Да рассказывай же!

Он кричит:

— Все сгорело!

И опять забили фонтаны. Тут я понял, что все это великое горе — из-за меня, из-за пожара; и не могу сказать, как мне стало отрадно.

— Бедный ты мой мальчик,— говорю я,— так ты из-за этого плачешь?

Он опять (он решил, что я не понял):

— Мастерская сгорела!

— Ну да, это уже старо; я твою новость знаю! Вот десятый раз за какой-нибудь час, что мне трубят об этом в уши. Что же делать? Это несчастие.

Он взглянул на меня спокойнее. Но все-таки ему было тяжело.

— Так ты любил свою клетку, дрозд ты этакий, который только и думал, как бы из нее выскочить? Знаешь,— говорю,— я подозреваю, что и ты, жулик, плясал со всеми вокруг костра.

(Я этого и в мыслях не имел).

Он возмутился.

— Это неправда, — воскликнул он, — неправда! Я дрался. Все, что можно было сделать, чтобы остановить огонь, хозяин, мы все сделали: но нас было только двое. И Канья, совсем больной (это другой мой подмастерье), вскочил с постели, хотя его и трясла лихорадка, и стал перед дверью в дом. Но попробуйте-ка остановить стадо свиней! Нас сбили, повалили, смяли, затоптали. Мы дрались и лягались, как ошалелые; но они прокатились над нами, словно река, когда спустят шлюзы. Канья встал, побежал им вслед, они его чуть не убили. А я, пока они боролись, прокрался в горевшую мастерскую... Боже ты мой, что за огонь! Все занялось разом; это был как бы факел с вьющимся языком, белым, красным и свистящим, плюющий вам в лицо искрами и дымом. Я плакал, кашлял, меня пачало подпекать, я говорил себе: «Смотри, Бине, изжаришься, как колбаса!..» Что ж делать, посмотрим! Гоп-ля! Я разбегаюсь, прыгаю,

как в Иванову ночь, штаны на мне вспыхивают, и кожа у меня подгорает. Я падаю в кучу стреляющих стружек. Я тоже стрельнул, вскочил опять, споткнулся и растянулся, ударившись головой о верстак. Меня оглушило. Но ненадолго. Я слышал, как вокруг гудит огонь и как эти звери за стеной пляшут себе да пляшут. Я пытаюсь встать, падаю снова; я, оказывается, расшибся; я становлюсь на четвереньки и вижу в десяти шагах вашу маленькую святую Магдалину и что ее голое тельце, окутанное волосами, пухленькое, миленькое, уже лижет огонь. Я крикнул: «Стой!» Я подбежал, схватил ее, загасил ладонями ее пылавшие чудесные ноги, обнял ее; я уже и сам не знаю, сам не знаю, что я делал; я целовал ее, плакал, я говорил: «Сокровище мое, ты со мной, ты со мной, не бойся, ты моя, ты не сгоришь, даю тебе слово! И ты тоже мне помоги! Магдалинушка, мы спасемся...» Времени нельзя было терять... бум!.. обрушился потолок! Вернуться тем же путем невозможно. Мы были совсем близко от круглого окошка, выходящего на реку; я высаживаю стекло кулаком, мы выскакиваем наружу, как сквозь обруч, как раз хватало места для нас двоих. Я лечу кубарем, шлепаюсь на самое дно Беврона. Хорошо, что дно недалеко от поверхности; и так как оно было жирное и вязкое, то Магдалина, падая, не насадила себе шишки. Мне не так повезло; я не выпускал ее из рук и барахтался, увязнув рылом в горшке; напился я и наелся через силу. Наконец, я выбрался, и вот без дальних слов, мы тут! Хозяин, простите меня, что я так мало сделал.

И, благоговейно размотав свой сверток, он вынул из скатанной куртки Магдалинку, которая, улыбаясь

невинными и кокетливыми глазками, показывала свои обгорелые ножки. И я был так взволнован, что случилось то, к чему меня не привели ни смерть моей старухи, ни болезнь моей Глоди, ни мое разорение и разгром моих работ,— я заплакал.

И, целуя Магдалину и Робине, я вспомнил про второго и спросил:

— А что Канья?

Робине ответил:

— Он от горя умер.

Я опустился на колени посреди дороги, поцеловал землю и сказал:

— Спасибо, мальчик.

И, взглянув на Робине, сжимавшего статую в своих раненых руках, я сказал небесам, указывая на него:

— Вот лучшая из моих работ: души, изваянные мною. Их у меня не отнимут. Сожгите все дотла! Душа цела.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

МЯТЕЖ

Конец августа

Когда волнение улеглось, я сказал Робине:

— Хватит! Что сделано, то сделано. Посмотрим, что остается сделать.

Я попросил его рассказать мне все, что произошло в городе за те две-три недели, что меня там не было, но коротко и ясно, без болтовни, ибо история вчерашнего дня уже древняя история, а важно знать, как обстоят дела сейчас. Я узнал, что в Кламси царят чума и страх, и больше страх, чем чума: ибо она как будто отправилась уже на дальнейшие поиски, уступая место всяким бродягам, которые, почуяв запах, стекались со всех сторон, чтобы вырвать у нее добычу из рук. Они-то и владели полем. Сплавщики, изголодавшиеся и ошалевшие от страха перед поветрием, не мешали им или же следовали их примеру. Что до законов, то они бездействовали. Те, кто был призван их блюсти, разъехались стеречь свои поля. Из четырех наших старшин один умер, двое бежали; а прокурор дал стрекача. Капитан замка, старик храбрый, но с подагрой, однорукий, пухлоногий и с телячьими мозгами, дал себя изрубить на куски. Остался один старшина, Ракен, который, очутившись лицом к лицу с этими сорвавшимися с цепи зверями, по трусости, по слабости, из лукавства, вместо того чтобы дать им отпор, счел более благоразумным смириться и уступить огню его долю. Заодно, сам себе не признаваясь в этом (я его знаю, я догадываюсь), он давал удовлетворение своей злопамятной душе, натравливая стаю под-

жигателей на тех, чья удача его огорчала или кому он хотел отомстить. Теперь мне понятно, почему выбрали мой дом!.. Но я сказал:

— Ну, а остальные, а горожане, что они делают?

— Они делают: «бя-я!» — отвечал Бине.— Это бараны. Они сидят по домам и ждут, когда их придут резать. У них больше нет ни пастуха, ни собак.

— Позволь, Бине, а я! Мы еще посмотрим, малыш, целы ли у меня клыки. За дело, дружок!

— Хозяин, один человек ничего не может.

— Он может попробовать!

— А если эта сволочь схватит вас?

— У меня ничего нет, мне на них наплевать. Поди причеши-ка лысого черта!

Он пустился в пляс:

— Вот весело-то будет! Фрульфинфан, шпин, шпун, шпан, трамплимплот, ход вперед, ход вперед.

И на обожженной руке прошелся колесом по дороге, причем чуть не растянулся. Я напустил на себя строгий вид.

— Эй, мартышка! — сказал я.— Так мы далеко не уйдем, если ты будешь крутиться, держась за ветку хвостом! Вставай! И будем серьезны! Теперь надо слушать.

Он стал слушать с горящими глазами.

— Смеяться тут нечего. Дело вот какое: я иду в Кламси, один, сию же минуту.

— А я! А я!

— А тебя я наряжаю послом в Дорнеси, предупредить господина Николя, нашего старшину, человека осторожного, у которого душа хороша, но еще лучше ноги, и который себя любит больше, чем своих сограждан, а еще больше, чем себя, любит свое добро,

что завтра утром решено распить его вино. Оттуда ты пройдешь в Сарди и навестишь в его голубятне мэтра Гильома Куртиньона, прокурора, и скажешь ему, что его кламсийский дом сегодня ночью, и не позже, будет сожжен, разграблен и прочее, если он не вернется. Он вернется. Этого с тебя довольно. Ты и сам найдешь, что сказать. И не тебя учить вранью.

Малыш, почесывая за ухом, сказал:

— Это-то нетрудно, да я не хочу с вами расставаться.

Я отвечаю:

— А кто тебя спрашивает, хочешь ты или не хочешь? Так хочу я. И так ты и сделаешь.

Он начал спорить. Я сказал:

— Довольно!

И так как этого малыша беспокоила моя судьба:

— Тебе,— говорю,— никто не запрещает бежать бегом. Когда управишься, можешь вернуться ко мне. Лучший способ мне помочь — это привести мне подкрепление.

— Я, — говорит,— их примчу во весь опор, в поту и в мыле и в туче пыли, Куртиньона и Николя, и, чтобы не замешкались нигде, привяжу им к пяткам по сковороде...

Он пустился стрелой, потом вдруг остановился:

— Хозяин, скажите мне по крайней мере, что вы собираетесь делать!

С видом важным и таинственным я ответил:

— Там видно будет.

(Сказать по правде, я и сам не знал.)

Часам к восьми вечера я дошел до города. Под золотыми облаками красное солнце закатилось. На-

двигалась ночь. Что за чудесная летняя ночь! И ни души, чтобы ею насладиться. У Рыночных ворот ни единого зеваки, ни единого сторожа. Входишь, как на мельницу. На большой улице тощий кот грыз краюху хлеба; ощетинился, завидев меня, потом удрал. Дома, закрыв глаза, встречали меня деревянными лицами. Везде тишина. Я подумал:

«Все они вымерли. Я опоздал».

Но вот я заметил, что из-за ставней прислушиваются к гулкому звуку моих шагов. Я стукнул, крикнул:

— Отоприте!

Никто не шевельнулся. Я подошел к другому дому. Опять принялся стучать, ногой и палкой. Никто не отпер. Мне послышался внутри мышиный шорох. Тут я догадался:

«Несчастные, они играют в прятки! Черта с два, я им взгрею пятки!»

Кулаком и каблуком я забарабанил о выставку книготорговца, крича:

— Эй, приятель! Дени Сосуа, черта с два! Я тебе все разнесу. Да отопри же! Отопри, ворона, и впусти Брюньона.

Тотчас же, как по волшебству (словно фея палочкой дотронулась до окон), все ставни распахнулись, и во всю длину Рыночной улицы, вытянувшись в ряд, как луковицы, показались в окнах перепуганные лица и уставились на меня. Уж они на меня глядели, глядели, глядели... Я не знал, что я такой красавец; я даже себя пощупал. Затем их напряженные черты вдруг размякли. У них был довольный вид.

«Милые люди, как они меня любят!» — подумал я, не сознаваясь себе в том, что они рады, потому что

мое присутствие в эту пору и в этих местах слегка рассеяло их страх.

И вот завязалась беседа между мной и луковичной стеной. Все говорили разом; и, один против всех, я ответствовал.

— Откуда ты? Что ты делал? Что ты видел? Чего тебе надо? Как ты вошел? Каким образом ты прошел?

— Тише! Тише! Не волнуйтесь. Я с удовольствием вижу, что язык у вас уцелел, хоть ноги отнялись и сердце смякло. Что вы там делаете, взаперти? Выходите, приятно подышать вечерней прохладой. Или у вас отобрали штаны, что вы сидите по комнатам?

Но вместо ответа они стали спрашивать:

— Брюньон, когда ты шел, кого ты встречал на улицах?

— Дурачье,— говорю,— кого вы хотите, чтобы я встретил, когда вы позапирались?

— Разбойников.

— Разбойников?

— Они грабят и жгут все.

— Где это?

— В Бейане.

— Пойдем, перехватаем их! Что это вы торчите в своем курятнике?

— Мы стережем дом.

— Лучший способ стеречь свой дом — это защищать чужой.

— Покорнейше благодарим! Всякий защищает свое.

— Я эту песенку знаю: «Мне дороги соседи, но я на них плюю»... Несчастные! Вы сами работаете на

разбойников. Сперва других, потом вас. Всякому придет черед.

— Господин Ракен сказал, что в этой беде самое лучшее сидеть смирно, уступить огню его долю и ждать, пока не восстановится порядок.

— А кто его восстановит?

— Господин де Невер.

— До тех пор много воды утечет. У господина де Невера и своих забот полная мера. Пока он о вас подумает, вас всех сожгут. Ну, ребята, живо! Кто за свою шкуру не хочет драться, тот может с ней и расставаться.

— Их много, они вооружены.

— Не так страшен черт, как его малюют.

— У нас нет вождей.

— Будьте ими сами.

Они продолжали стрекотать, из окна в окно, словно птицы на жердочке; спорили друг с другом, но ни один не двигался. Я начал терять терпение.

— Что же я, по-вашему, всю ночь буду так торчать на улице, задрав нос и выворачивая себе шею? Я пришел не серенады петь перед вами да слушать, как вы стучите зубами. То, что мне надобно вам сказать, не поют, и с крыш об этом не орут. Отоприте! Отоприте, черт возьми, или я вас спалю! Ну, выходите, самцы (если таковые еще остались); хватит куриц стеречь насест.

Не то смеясь, не то ругаясь, приотворилась дверь, потом другая; высунулся осторожный нос; за ним показалась и вся скотинка; и как только один баран вышел из загона, повысыпали все. Все наперебой заглядывали мне под нос:

— Ты совсем поправился?

— Здоров, как кочан капусты.

— И никто к тебе не приставал?

— Никто, кроме стада гусей, которые на меня пошипели.

Видя, что я вышел невредим из всех этих опасностей, они облегченно вздохнули и полюбили меня пуще прежнего. Я сказал:

— Смотрите хорошенько. Видите, я целехонек. Все на месте. Ничего не пропало. Хотите мои очки? Ну, хватит! Завтра будет виднее. Сейчас не время, полно, бросим пустяки. Где бы нам можно поговорить?

Ганньо сказал:

— У меня в кузнице.

В кузнице у Ганньо, где пахло рогом и земля была изрыта конскими копытами, мы столпились в потемках, как стадо. Заперли дверь. В свете огарка, поставленного наземь, на черном от дыма потолке плясали наши большие тени, согнутые у шеи. Все молчали. И вдруг заговорили разом. Ганньо взял молот и ударил по наковальне. Ударом прорвало гул голосов; в прорыв хлынула тишина. Я этим воспользовался и сказал:

— Не будем тратить слов зря. Я все уже знаю. У нас засели разбойники. Хорош! Выставим их вон.

Те сказали:

— Они слишком сильны. Сплавщики за них.

Я сказал:

— Сплавщикам хочется пить. Когда они видят, как другие пьют, они глядеть не любят. Я их отлично понимаю. Никогда не следует искушать бога, а сплавщика и подавно. Если вы допустите грабеж, то не

удивляйтесь, если иной, даже когда он и не вор, предпочтет, чтобы добыча попала в карман к нему, а не к соседу. А потом, всюду есть добрые и злые. Давайте, как Учитель, «ab haedis scindere oves» [1].

— Но ежели господин Ракен,— отвечали они,— старшина, велел нам не шевелиться! За отсутствием остальных, наместника, прокурора, его дело следить за порядком в городе.

— А он это делает?

— Он говорит...

— Делает он это или нет?

— Это видно и так!

— В таком случае возьмемся за это сами.

— Господин Ракен обещал, что, если мы будем сидеть смирно, нас не тронут. Мятеж не выйдет за пределы предместий.

— А откуда он это знает?

— Он, должно быть, заключил с ними договор, вынужденный, невольный!

— Да ведь такой договор — преступление!

— Это, он говорит, чтобы их усыпить.

— Их усыпить или вас?

Ганньо снова ударил по наковальне (это была его привычка, как другой, разговаривая, похлопывает себя по ляжке) и сказал:

— Он прав.

Вид у всех был пристыженный, запуганный и злобный. Дени Сосуа, потупя нос, заметил:

— Если сказать все то, что думаешь, длинный вышел бы рассказ.

---

[1] Отделять овец от козлищ (*лат.*).

— Так чего ж ты не говоришь? — сказал я.— Чего же вы не говорите? Здесь все мы братья. Чего вы боитесь?

— У стен бывают уши.

— Как! Вот до чего вы дошли?.. Ганньо, возьми свой молот и стань перед дверью, приятель! И первому, кто захочет выйти или войти, забей череп в желудок! Есть у стен уши, чтобы подслушивать, или нет, а только я ручаюсь, что языка у них не будет, чтобы доносить. Потому что, когда мы отсюда выйдем, мы выйдем затем, чтобы немедленно исполнить то, что будет постановлено. А теперь говорите! Кто молчит, тот предатель.

Шум поднялся неистовый. Вся затаенная ненависть и боязнь пошли взрываться ракетами. Люди кричали, грозя кулаками:

— Этот жулик Ракен держит нас в руках! Иуда нас продал, нас и наше имущество. Но как быть? Ничего с ним не поделаешь. За ним закон. У него сила, управляет он.

Я сказал:

— А где он засел?

— В ратуше. Он там сидит день и ночь, для большей безопасности, окруженный стражей из мерзавцев, которые его стерегут, а может быть, не столько стерегут, сколько сторожат.

— Так, значит, он в плену? Отлично,— говорю,— мы, первым делом, немедленно его освободим. Ганньо, отопри дверь!

Они, казалось, все еще не могли решиться.

— Что вас смущает?

Сосуа сказал, почесывая голову:

— Это не шутка. Драки мы не боимся. А только, Брюньон, как-никак, мы не имеем права. Этот человек — закон. Идти против закона — это значит брать на себя тяжелую...

Я перебил:

— От-вет-ствен-ность? Хорошо, я беру ее на себя. Можешь не беспокоиться. Когда я вижу, Сосуа, что жулик жулит, я первым делом бью его обухом по голове; затем спрашиваю его, как его звать; и если это оказывается прокурор или папа, ладно, пусть так и будет! Друзья, поступите так же. Когда порядок становится беспорядком, то надо, чтобы беспорядок навел порядок и спас закон.

Ганньо сказал:

— Я иду с тобой.

С молотом на плече, с огромными руками (на левой — четыре пальца, расплющенный указательный отсутствовал, косой на один глаз, кожей черный, станом прямой и дюжий, как бочка, он был похож на шагающую башню. И все теснились позади, следуя за оплотом его спины. Всякий побежал к себе домой — захватить аркебузу, резак или молоток. И я, признаться, не поручусь, что всякий вошедший вышел обратно в ту же ночь: видно, иной бедняга не разыскал своих доспехов. Потому что, говоря по правде, когда мы вышли на площадь, нас было маловато. Но кто не отстал, тот всегда молодец.

По счастью, дверь ратуши оказалась незапертой: пастух был так уверен, что его бараны дадут себя остричь до последнего, не заблеяв, что и его псы и он сам спали сладким сном невинности, отлично пообедав. Таким образом, в нашем приступе не было ничего, должен сознаться, героического. Нам оставалось,

что называется, вынуть сороку из гнезда. Мы ее оттуда и извлекли, нагишом и без штанов, похожую на ободранного кролика. Ракен был человек жирный, с лицом круглым и румяным, с мясиыми подушечками на лбу, над глазами, вида слащавого, недобрый и неглупый. Он это нам и показал. Он сразу же понял, в чем дело. Испуг и злоба мелькнули в его серых глазенках, запрятанных в складки век. Но он тотчас же оправился и властным голосом спросил нас, по какому праву мы проникли в дом закона.

Я ему сказал:

— Чтобы ты в нем больше не спал.

Он рассвирепел. Сосуа ему сказал:

— Мэтр Ракен, теперь грозить не время. Здесь вы обвиняемый. Мы пришли требовать у вас отчета. Защищайтесь.

Он subito[1] переменил тон.

— Но, дорогие сограждане,— сказал он,— я не понимаю, чего вы от меня хотите. Кто из вас жалуется? И на что? Разве я не остался здесь, рискуя жизнью, чтобы вас охранять? Когда все другие бежали, мне одному пришлось бороться с мятежом и чумой. В чем меня упрекают? Разве я повинен в язвах, которые я пытаюсь уврачевать?

Я сказал:

— Говорят: «Опытный врач дает ране загнить». Так поступаешь и ты. Ракен, целитель города. Ты утучняешь мятеж и кормишь чуму, а потом доишь обе свои скотинки. Ты стакнулся с ворами. Ты поджигаешь наши дома. Ты предаешь тех, кого ты должен охранять. Ты руководишь теми, кого должен карать.

[1] Тотчас (*лат.*).

Скажи нам, изменник, это ты из трусости или из алчности занялся этим гнусным ремеслом? Что ты хочешь, чтобы тебе повесили на шею? Какую надпись? «Вот человек, продавший свой город за тридцать сребреников»... За тридцать сребреников? Не так мы глупы! Цены возросли со времен Искариота. Или: «Вот старшина, который, чтобы спасти свою шкуру, продавал сограждан с молотка?»

Он рассвирепел и сказал:

— Я делал то, что должен был делать, то, на что я имел право. Зачумленные дома я жгу. Таков закон.

— И ты называешь зачумленными, ты метишь крестом дома всех тех, кто не за тебя! «Кто хочет утопить свою собаку...» [1]. Это ты тоже, чтобы бороться с чумой, позволяешь грабить зараженные дома?

— Помешать этому я не в силах. А вам-то что за беда, если потом эти грабители сами мрут, как крысы? Сразу два зайца убиты. Вдвое легче!

— Он будет нам рассказывать, что истребляет чуму громилами, а громил — чумой! И так, понемножку, он останется победителем в разрушенном городе. Разве я не говорил? Помрет больной, помрет болезнь, и останется один врач. Так вот, мэтр Ракен, начиная с сегодняшнего дня, мы на тебя тратиться не станем, мы сами себя будем лечить; а так как за всякий труд полагается плата, то мы можем тебе дать...

Ганньо сказал:

— На кладбище кровать.

---

[1] «...обвиняет ее в бешенстве». Французский стих (по старинной пословице), который произносит Кола, принадлежит Герену де Бускалю (комедия «Правление Санчо Пансы», 1641 г.) и повторен Мольером в его «Ученых женщинах».— *Прим. пер.*

Это было, как если бы собакам швырнули кость. Они ринулись на добычу, рыча; кто-то крикнул:

— Уложим малютку спать!

К счастью, дичь спряталась в альков и, прислонясь к стене, растерянно смотрела на оскаленные морды. Я отозвал собак:

— Ту-бо! Предоставьте действовать мне!

Они не спускали с него глаз. Бедняга, голый, розовый, как поросенок, дрожал от страха и холода. Я сжалился. Я ему сказал:

— Ну, натягивай штаны! С нас довольно, милый брат, любоваться на твой зад.

Они расхохотались до слез. Я воспользовался затишьем, чтобы их урезонить. Тем временем этот скот вползал в свою шкуру, скрежеща зубами и меча недобрые взгляды, потому что чувствовал, что гроза удаляется. Одевшись и поняв, что зайца изловят еще не сегодня, он осмелел и стал нам дерзить: он назвал нас мятежниками и пригрозил нам судом за оскорбление должностного лица. Я ему сказал:

— Ты больше не должностное лицо. Старшина, я тебя смещаю.

Тогда его гнев обратился против меня. Желание отомстить взяло верх над осторожностью. Он сказал, что знает меня хорошо, что это я моими советами вскружил глупые головы этим бунтарям, что он обрушит на меня бремя их вины, что я негодяй. Объятый неистовством, запинаясь, с присвистом, он закидал меня щедрой дланью, самой отборной бранью. Ганньо спросил:

— Убить его, что ли?

Я сказал:

— Ты поступил догадливо, Ракен, что разорил

меня. Ты знаешь, мерзавец, что я не могу велеть тебя повесить, не навлекая на себя подозрения в том, что действую из мести за мой сожженный дом. А пеньковый воротник был бы тебе к лицу. Но пусть другие тебя им украшают. Тебя не убудет, если ты и подождешь. Главное то, что ты попался. Ты теперь ничто. Мы с тебя срываем твой пышный старшинский наряд. Мы сами берем в руки кормило и весло.

Он пролепетал:

— А ты знаешь, Брюньон, чем ты рискуешь?

Я ему ответил:

— Знаю, милый мой, рискую головой. Что ж, я ею готов сыграть хоть в поддавки. Потеряю ее, выиграет город.

Его отвели в тюрьму. Там ему досталось еще теплое место, уступленное ему старым сержантом, которого посадили три дня назад за отказ повиноваться его распоряжениям. Пристава и вратарь ратуши, когда дело было сделано, говорили в один голос, что так и следовало, и они, дескать, всегда думали, что Ракен предатель. Что толку думать сложа руки!

До сих пор все шло гладко, как ровная доска, где рубанок скользит, не встречая сучка. И это меня удивляло. Я спрашивал:

— Куда же девались разбойники?

Как вдруг слышу крик:

— Пожар!

Ясное дело: они грабили не здесь.

На улице запыхавшийся человек сообщил нам, что вся шайка громит склады Пьера Пуллара в Вифлее-

ме, возле ворот башни Лурдо, бьет, жжет, пьет вовсю. Я сказал приятелям:

— Ежели им для пляски нужны музыканты, мы к их услугам!

Мы побежали на Мирандолу. С террасы открывался вид на весь нижний город, откуда доносился во тьме грохот шабаша. На башне святого Мартына прерывисто гудел набат.

— Товарищи,—сказал я,— придется нам спуститься в самое пекло. Будет жарко. Готовы ли мы? Но прежде всего нужен начальник. Кто им будет? Хочешь, Сосуа?

— Нет, нет, нет, нет,— отвечал он, отступая на три шага назад.— Я не хочу. Довольно и того, что я здесь разгуливаю в полночь со старым мушкетом. Что велено будет, что надо будет, я сделаю,— но только не командовать. Избави боже! Я никогда ничего не умел решать...

Я спросил:

— Так кто же хочет?

Но никто не шевельнулся. Я этих голубчиков знаю! Говорить, ходить, это еще куда ни шло. Но когда требуется принять решение, никого нет. Вечная привычка хитрить с жизнью, по-обывательски, мямлить и щупать раз пятьдесят сукно, которое хочешь купить, торговаться и тянуть до тех пор, пока не упустишь или случай, или сукно. Случай представился, я протягиваю руку:

— Если никто не хочет, тогда я.

Они сказали:

— Идет!

— Но только чур: повиноваться мне беспрекос-

ловно всю эту ночь! Иначе мы погибли. До утра я один глава. Судить меня будете завтра. Согласны?

Все сказали:

— Согласны.

Мы спустились с холма. Я шел впереди. Слева от меня шагал Ганньо. По правую руку я поместил Барде, городского бирюча и барабанщика. Уже при входе в предместье, на Заставной площади, мы встретили весьма веселую толпу, которая добродушно направлялась целыми семьями, малюток за руку держа, прямо к месту грабежа. Совсем как в праздник. Иные хозяйки захватили с собой корзинки, словно в базарный день. Люди останавливались, глядя на наш отряд; перед нами учтиво расступались; они не понимали, в чем дело, и, следуя за ними, невольно шагали в ногу. Один из них, цирюльник Перрюш, шедший с бумажным фонарем, под самый нос мне его поднес, узнал меня и сказал:

— А, Брюньон, приятель! Так ты вернулся? Что ж, как раз вовремя. Вместе выпьем.

— Все в свое время, Перрюш,— отвечаю я.— Мы с тобой будем пить завтра.

— Стареешь ты, Кола. Жажда времени не знает. До завтра вино разопьют. Они уже начали. Поспешим! Или ты, чего доброго, потерял вкус к благородной влаге?

Я сказал:

— К краденому вину, да.

— Оно не краденое, а спасенное. Когда горит дом, лучше, по-твоему, так и давать по-дурацки гибнуть добру?

Я отстранил его с дороги:

— Вор!

И прошел мимо.

— Вор! — повторили ему Ганньо, Барде, Сосуа, все остальные. И прошли мимо.

Перрюш так и замер на месте; затем яростно заорал; обернувшись, я видел, что он бежит за нами, грозя кулаком. Мы делали вид, что не слышим его и не видим. Настигнув нас, он вдруг умолк и зашагал вместе с нами.

Когда мы вышли на берег Ионны, оказалось невозможным протиснуться к мосту. Такая толпа. Я велел бить в барабан. Первые ряды расступились, сами не зная толком, зачем. Мы вошли клином, но нас зажало. Тут я увидел двух сплавщиков, которых хорошо знал, отца Жоашена, по прозванию «Калабрийский король», и Гадена, он же Герлю[1]. Они мне сказали:

— Что такое, мэтр Брюньон, с чего это вы сюда явились с вашей ослиной кожей и всеми этими навьюченными, важными, как лошаки? Это вы смеха ради или на войну собрались?

— Ты угадал, Калабр,— говорю ему.— Ибо я, перед тобой стоящий, на сегодняшнюю ночь капитан Кламси и иду защищать город от его врагов.

— От его врагов? — сказали они.— Да ты в уме ли? Кто же это такие?

— Те, кто поджигает.

— А тебе не все ли равно,— сказали они,— раз твой-то дом уже сожжен? (О нем жалеют; ошиблись, понимаешь.) Но дом Пуллара, этого висельника, разжиревшего нашими трудами, этого фарисея, который щеголяет в шерсти, снятой с наших же спин, и

[1] Gueurlu (*франц.*) — бездельник, шалопай.

обобрав до нитки всех вокруг, презирает нас с высоты своих заслуг! Кто его пограбит, может быть уверен, что попадет прямиком в рай. Это святое дело. Так что ты нам не мешай. Тебе-то что? Не грабить самому, еще куда ни шло. Но мешать другим!.. Никакого убытка, и верный барыш.

Я сказал (потому что мне было бы тяжело отдубасить этих бедных малых, не попытавшись сперва их образумить):

— Убыток великий, Калабр. Надо спасать нашу честь.

— Нашу честь! Твою честь! — сказал Герлю.— Пить ее можно, что ли? Или есть? Завтра нас, чего доброго, и в живых-то не будет. Что от нас останется? Ничего не останется. Что об нас будут думать? Ничего не будут думать. Честь — это роскошь для богачей, для дураков, которых хоронят с эпитафиями. А мы будем лежать все вместе, в общей яме, как ломти трески. Поди разбери, какая из них смердит честью и какая дерьмом!

Ничего не ответив Герлю, я сказал Жоашену:

— Порознь, в одиночку, мы все ничто, это правда, Калабрийский ты мой король; но все вместе мы уже многое. Сто малых — это один большой. Когда исчезнут нынешние богачи, когда позабудутся, вместе с их эпитафиями, ложь их гробниц и родовые их имена, все еще будут помнить кламсийских сплавщиков, они будут в истории города его знатью, с жесткими руками, с головою, твердой, как их кулак; и я не желаю, чтобы их прозвали шайкой бродяг.

Герлю сказал:

— Мне наплевать.

Но Калабрийский король, сплюнув, воскликнул:

— Если тебе наплевать, так ты паршивец. Брюньон прав. Мне тоже было бы досадно, если бы так стали говорить. И, вот те крест, этого не скажут. Честь — не вотчина богачей. Мы это им покажем. Будь он «сир» или «мессир», ни один из них нас не стоит!

Герлю сказал:

— Чего нам церемониться? Они-то разве церемонятся? Есть ли бо́льшие обжоры, чем все эти принцы да герцоги, Конде, Суасон и наш Невер, и толстый Эпернон, которые, набив себе брюхо и щеки, уписывают, свиньи, еще столько миллионов, что лопнуть можно, и когда помрет король, грабят его казну? Вот какова их честь! Дураки мы будем, если не станем брать с них пример!

Калабрийский король выругался:

— Все они сволочи. Когда-нибудь наш Генрих еще встанет из гроба, чтобы их вырвало, мы сами их изжарим, нашпиговав их собственным их золотом. Если знатные ведут себя как свиньи, черт возьми, их зарежут, но в свинстве ихнем подражать им не будут. Пример подаем мы. В ляжке у сплавщика больше чести, чем в дворянском сердце.

— Так ты идешь, король?

— Иду; и этот тоже, Герлю тоже пойдет.

— Нет, к черту!

— Пойдешь, говорю тебе. Или — видишь реку: отправишься туда. Ну живо, марш! А вы, елки-палки, дорогу, колбасье, я иду!

Он шел, раздвигая толпу ручищами. А мы, в этом водовороте, следовали за ним, как мелюзга, за крупной рыбиной. Те, кто теперь попадались нам навстречу, были слишком «на взводе», чтобы стоило с ними

спорить. Всему свой черед: сперва доводы языком, а затем кулаком. Только их старались усаживать наземь, не слишком уж помяв: питух — вещь священная!

Наконец добрались до дверей склада мэтра Пьера Пуллара. Туча громил кишела в доме, как клопы в соломе. Одни тащили сундуки, тюки; другие вырядились в краденое старье; иные весельчаки кидали, ради шутки, посуду и горшки из окон верхнего жилья. На двор выкатывали бочки. Я видел одного, который пил, припав губами к дыре, пока не рухнул, задрав ноги, под хлещущей струей. Вино разливалось лужами, и его лакали дети. Чтобы было светлей, свалили мебель кучами во дворе и подожгли. Из глубины погребов доносился стук молотков, которыми высаживали донья у бочек и бочонков; вопли, крики, хриплый кашель; дом под землей урчал, словно у него в утробе засело стадо поросят. И уже местами из отдушин вырывались языки пламени и лизали стропила.

Мы проникли во двор. На нас никто не смотрел. Всякий был занят своим. Я сказал:

— Бей, Барде!

Барде забил в барабан. Он возвестил полномочия, возложенные на меня городом; и я, в свой черед возвысив голос, стал увещевать громил удалиться. Заслышав барабан, они сбились в кучу, как стая мух, если колотить по котлу. Но когда мы умолкли, они опять яростно загудели и кинулись на нас со свистом и гиком, швыряясь камнями. Я попытался вломиться в дверь подвала; но из чердачных окон они сбрасывали черепицы и балки. Мы все ж таки вошли, оттеснив этот сброд. Ганньо при этом лишился еще двух паль-

цев на руке. Калабрийскому королю вышибли левый глаз. А мне, когда я навалился на захлопнувшуюся дверь, защемило палец, как лису капканом. Батюшки мои! Я чуть не сомлел, как баба, и не выплюнул всего, что у меня было в желудке. На мое счастье, я заметил вскрытый бочонок (это была крепкая водка), всполоснул утробу и смочил палец, после чего, даю вам слово, у меня пропала охота обмирать. Но зато и я тоже рассвирепел. Горчица ударила мне в нос.

Теперь мы сражались на ступенях лестницы. Пора было кончать. Потому что эти черти рогатые палили нам в лицо из своих мушкетов и на таком расстоянии, что у Сосуа загорелись усы. Герлю затушил их своими мозолистыми руками. На наше счастье, у этих пьяниц, когда они целились, двоилось в глазах; иначе никто из нас живым бы не вышел. Нам пришлось подняться по лестнице вспять и отступить. Но когда мы расположились у входа,— а я заметил, что пожар тайком подкрадывается от боковых крыльев дома к среднему жилью, где помещался погреб,— я велел загородить вход забором из камней и обломков, высотой по пояс; а над ним торчали, преграждая доступ, наши рогатины и багры, подобно щетинистой спине свернувшегося в комок дикобраза. И я крикнул:

— А, разбойники! Вы любите огонь? Так нате же, ешьте!

Большинство поняло опасность слишком поздно, перепившись в глубине подвалов. Но когда от сильного пламени затрещали стены и в его челюстях хрустнули балки, из-под земли взметнулся ад; волна оборванцев, из которых иные пылали, хлынула на поверх-

ность, словно пенистое вино, выбившее втулку. Они ударились об иашу стену; а напиравшие сзади образовали пробку, запрудившую выход. За иими, в глубиие ямы, слышался рев огня и рев горящих. Сами понимаете, что от этой музыки иам было ие очеиь-то уютио! Невесело слушать, как терзаемое мясо страдает и орет от боли. И будь я просто частное лицо, обыденный Брюньон, я бы сказал:

— Спасем их!

Но когда ты начальиик, ты уже ие вправе иметь ни сердца, ни ушей. Глаз и разум. Видеть, и хотеть, и делать, ие слабея, то, что иадо. Спасти этих бандитов значило погубить город: потому что, вырвись они на волю, они оказались бы миогочислеииее и сильиее нас, их стороживших, и созрев для виселицы, оии бы не дали себя взять голыми руками. Осы — в гнезде; пусть там и остаются!..

И я видел, как оба огнениых крыла сблизились и сомкнулись иад средиим здаиием, треща и рассыпая кругом дымовые перья...

И вдруг в эту самую минуту я вижу над передиими рядами, которые набились в жерле лестиицы, слипшись в кучу и шевеля только бровями, глазами, ртами воющими, моего старого приятеля Элуа, он же Гамби[1], бездельиика, славного малого, ио пьяницу (и как это ои попал, боже милостивый, в это осиное гнездо?), который смеялся и плакал, ничего не понимая, совсем одурев. Поделом ему, лодырю, дармоеду! Одиако нельзя же ему дать этак изжариться... В детстве мы играли вместе и вместе вкусили, в церкви

---

[1] Gambi (*франц.*) — хромоногий.

святого Мартына, тела господня: мы с ним братья по первому причастию...

Я раздвигаю рогатины, перескакиваю через ограду, шагаю по бешеным головам (они кусались!) и сквозь это дымящееся людское месиво добираюсь до моего Гамби и хватаю его за шиворот. «Тысяча богов! Как теперь вырвать его из тисков? — подумая я, вцепившись в него. — Придется его разрубить, чтобы достать хоть кусок...» Но быть же такому счастью (я бы сказал, есть бог для пьяниц, хоть и не ко всем он был столь же милостив), что как раз, когда мой Гамби оказался на ребре ступени и качнулся назад, поднимавшиеся кверху приподняли его на плечах, так что он уже не касался земли и повис посередке, как плодовая косточка, зажатая между пальцев. Раздвигая пятками, вправо и влево, человеческие плечи, стиснувшие ему бока, я все-таки ухитрился вытащить, хоть и не без труда, из пасти толпы эту косточку, которую так и выперло наружу. Пора было! Пламя смерчем подымалось, как в трубе, вдоль жерла лестницы. Я слышал, как шипели тела в недре печи и, согнувшись, шагая большими шагами, не глядя, во что ступают мои подошвы, я пошел обратно, таща Гамби за сальные волосы. Мы выбрались из пропасти и отошли от нее подальше, предоставив огню довершать свое дело. И, чтобы подавить в себе волнение, мы наминали Гамби бока, этому скоту, который, почти уже околевая, держал и не выпускал, прижав к сердцу, два финифтяных блюда и расписную миску, бог весть где стибренные! И Гамби, протрезвев и плача, расхаживал, побросав свои миски, останавливался, где попало, мочась, как фонтан, и кричал:

— Не надо мне того, что я украл!

На рассвете явился прокурор, мэтр Гильом Куртиньон, сопутствуемый Робине, который вел его с барабанным боем. Его сопровождали тридцать человек ратников и отряд крестьян. За день подошли еще другие, приведенные господином старшиной. На следующий день — еще новые, присланные нашим добрым герцогом. Они потрогали горячий пепел, составили опись убыткам, подвели им счет, прибавили к нему свои путевые и харчевые издержки, а затем вернулись туда, откуда пришли.

Хочешь знать, какова здесь мораль, изволь:
«Подсоби себе сам, подсобит король».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ГЕРЦОГ С НОСОМ

Конец сентября

Вернулась тишина, остыла и зола, как будто и чума в былое отошла. Но город на первых порах был точно раздавлен. Обыватели переваривали свой испуг. Они с опаской нащупывали почву; им еще плохо верилось, что они на ней, а не под ней. Большей частью они прятались, а то шмыгали по улицам, вдоль стен, понурив голову и поджав хвост. Да, чваниться было нечем, люди избегали смотреть друг другу в лицо, да и на самого себя радости было мало глядеть в зеркало: больно уж хорошо все себя разглядели, узнали себя досконально, природа человеческая предстала без сорочки: зрелище не из красивых! Царили стыд и недоверие. Мне тоже было не по себе: бойня и запах жареного не давали мне покою; а главное — воспоминание о подлости, о жестокости, которые я прочел на знакомых лицах. Те это знали и втайне злобствовали на меня. Я их понимаю; мне самому было еще более неловко; я бы охотно сказал им, если бы мог: «Друзья мои, простите. Я ничего не видел...» А над угнетенным городом нависло тяжелое сентябрьское солнце. Зной и истома лета на исходе.

Наш Ракен отправился под надежной охраной в Невер, где герцог и король оспаривали друг у друга честь судить его, так что, пользуясь этой распрей, он рассчитывал выскользнуть у них из рук. Что же касается меня, то наши господа из округа были так добры, что соблаговолили закрыть глаза на мое поведе-

ние. Оказывается, я учинил, спасая Кламси, два или три тяжелых преступления, за которые мне грозила по меньшей мере каторга. Но так как, в сущности, они не были бы учинены, если бы эти господа не удрали, а остались нами править, то ни они не настаивали, ни я. Я не любитель путаться с судами. Можно сколько угодно чувствовать себя невинным; почем знать? Сунешь палец в эту проклятую машину — прощай рука! Режьте, режьте, не долго думая, не то втянет целиком... Таким образом, ничего друг другу не сказав, мы с ними условились, что я ничего не сделал, и что они ничего не видели, и что все, случившееся в ту ночь под моим капитанством, совершено ими. Но, сколько ни желай, того, что было, сразу не изгладишь. Люди помнят, а это стеснительно. Я это видел по глазам у всех: меня боялись; и я сам себя боялся, своих подвигов, этого незнакомого, несуразного Кола Брюньона, каким я был вчера. Ну его к черту, этого Цезаря, этого Аттилу, этого героя! Герой бутылки, это я понимаю. Но военное геройство, нет уж, увольте!.. Словом, мы чувствовали себя пристыженными, разбитыми и усталыми; у нас ныло на сердце и в животе.

Все мы с остервенением принялись за работу. Работа вбирает и стыд и боль, как губка. Работа обновляет и кожу и кровь души. Дела было немало: столько развалин кругом! Но кто нам больше всех помог, так это земля. Никогда не было видано такого урожая плодов и хлебов; а венцом всего явился напоследок сбор винограда. Поистине казалось, будто эта добрая мать хотела выпитую кровь вернуть нам вином. Почему бы и нет в конце концов? Ничто не пропадает, не должно пропадать. Если бы кровь пропа-

дала, куда бы она девалась? Вода нисходит с неба и туда же возвращается. Отчего бы и вину точно так же не совершать кругооборот между землей и нашей кровью? Это тот же сок. Я — виноградный куст, или был им, или буду. Мне бы хотелось этому верить; и я хочу им быть, и всякое иное бессмертие я отдам за то, чтобы стать виноградником или плодовым садом, и чувствовать, как моя плоть взбухает и наливается красивыми ягодами, круглыми, полными черного и бархатистого грозда, и напрягать их кожицу так, чтобы она готова была треснуть под летним солнцем, и (лучше всего) быть съеденным. Как бы там ни было, а только в этом году виноградный сок так и хлынул, и земля сквозь все свои поры исходила кровью. Дошло до того, что не хватило бочек; и, за неимением посуды, виноград оставляли в чанах, а то и просто в бельевых корытах, и его даже не давили! Мало того: случилось такое неслыханное дело, что некий старый андрийский житель, отец Кульмар, не в силах управиться, стал продавать по тридцать су бочку винограда, с тем только, чтобы его снимали сами. Можете посудить, как мы всполошились, мы-то, которые не в силах видеть хладнокровно, как гибнет божья кровь! Чтобы ее не бросать, пришлось ее распивать. Думали недолго, все мы люди долга. Но это была Геркулесова работа; и частенько не Антей, а Геркулес касался земли. Во всяком случае хорошего в этом было то, что мысли наши перерядились; чело их прояснилось, и лица посветлели.

И все ж таки что-то еще оставалось на дне стакана, словно осадок, привкус какой-то; люди все еще сторонились друг друга, следили друг за другом. Немножко, правда, приободрились (пошатываясь); но с

соседом не сходились; пили в одиночку, смеялись в одиночку; это очень вредно. Так могло бы тянуться долго, и не знали, как из этого выпутаться. Но случай хитер. Он всегда сыщет верный способ, единственный, который сплачивает людей: объединить их против кого-нибудь. Любовь тоже сближает; но что всех сливает воедино, так это враг. А враг — это наш хозяин.

И вот случилось так, что этой самой осенью герцог Карл решил запретить нам водить хороводы. Это уж слишком! Черта с два! Не было подагрика, или хромого, или безногого, у которого сразу же не зачесались бы пятки. Как всегда, поводом к распре послужил Графский луг. Дело с ним темное, вовеки не распутать. В этот красивый луг, расположенный у подножья горы Крок-Пенсон, у городских ворот, и окаймленный, словно небрежно брошенным серпом, излучистым Бевроном, уже триста лет как вцепились и тянут каждая к себе — широкая пасть господина де Невера и наша, которая не так широка, но, что в нее попало, того не выпустит. Ни с той, ни с другой стороны ни малейшей злобы; улыбаются, учтивы, говорят: «Мой друг, мои вернолюбезные, ваша светлость...» Но каждый стоит на своем и не желает уступать ни пяди. Сказать по правде, сколько мы ни судились, мы всякий раз оказывались неправы. Суды, палаты, Мраморный стол выносили постановление за постановлением, из которых явствовало, что наш луг не наш. Как известно давно, правосудие на то и заведено, чтобы за деньги называть белым то, что черно. Мы не очень и беспокоились. Присудить — это вздор, важно иметь. Черна твоя корова или бела, береги свою корову, милый человек! Мы ее и берегли, и луга нашего не уступали. Ведь как удобно! Вы по-

думайте только! Это единственный луг в Кламси, который ни одному из нас не принадлежит. Принадлежа герцогу, он принадлежит всем. Поэтому мы с чистой совестью можем его портить. И видит бог, чего только с ним не вытворяют. Все, чего нельзя сделать дома, делают на нем: работают, чистят, набивают тюфяки, выколачивают старые ковры, кидают мусор, играют, гуляют, пасут коз, пляшут под рыли, упражняются из аркебузы и на барабане; а по ночам предаются любви, в траве, расцвеченной бумажками, у шепчущих струй Беврона, которого ничем не удивишь (и не такое видывал!).

Пока жив был герцог Людовик, все шло хорошо, потому что он делал вид, будто ничего не замечает. Это был человек, который знал, что лошадками легче править, если не слишком натягивать вожжи. Какой ему был убыток от того, что нам казалось, будто мы люди свободные и умеем за себя постоять, если на самом деле хозяином был он? Но сын его — человек тщеславный, ему важно не то, что он есть, а то, каким он кажется (оно и понятно: сам-то он ничто), и он задирает башку, чуть запоешь кукареку. А между тем надо, чтобы француз пел и над хозяевами своими издевался. Если он не издевается, он восстает; он не охотник подчиняться тем, кто желает, чтобы их всегда принимали всерьез. Мы любим от души только то, над чем мы можем от души посмеяться. Потому что смех равняет всех. А этому гусенку вздумалось запретить нам играть, гулять, мять и портить траву на Графском лугу. Нашел тоже время! После всех наших несчастий, когда ему следовало бы, скорее, сложить с нас подати!.. Да, но зато мы ему и показали, что кламсийцы не из того дерева, которое идет на хво-

рост, а из крепкого дуба, куда топор входит с трудом, а ежели вошел, то вытащить его еще труднее. Не пришлось и сговариваться. Единодушие было полное. Отобрать у нас наш луг! Отобрать подарок, который нам поднесли, — или который мы сами себе присвоили (это все равно: добро, которое украл и хранил триста лет, становится собственностью, трижды священной), добро тем более драгоценное, что оно было не нашим, и мы его сделали нашим, пядь за пядью, день за днем, медленным захватом и долгим упорством, единственное добро, которое нам ничего не стоило, кроме труда его забрать! Это отбивало охоту что бы то ни было забирать! К чему тогда и жить! Да ведь если бы мы уступили, наши покойники встали бы из могил! Честь города сплотила всех.

В тот же день, когда городской барабанщик заунывным голосом (словно он сопровождал на Самбер приговоренного к виселице) прокричал нам роковой указ, вечером все видные люди, главы братств и цехов и знаменосцы, собрались под сводами Рынка. Был там и я и представлял, как и полагается, мою покровительницу, Иоакимову супругу, бабушку, святую Анну. О том, как именно действовать, мнения расходились; но что действовать надо, с этим все были согласны. Ганньо, за святого Элигия, а за святого Николу Калабр заявили себя сторонниками действий решительных: и хотели немедленно поджечь ворота, разбить заставы, а страже головы и скосить луг, наголо, дочиста. Но, за святого Гонория, пекарь Флоримон и Маклу-садовник, за святого Фиакра, люди кроткие, как и их святые, были благодушнее и предпочитали ограничиться пергаменной войной: платоническими пожеланиями и челобитиями герцогине (со-

провождаемыми, надо полагать, небесплатными подношениями из печи и сада). К счастью, трое нас — я, Жан Бобен за святого Криспина и Эмон Пуафу за святого Викентия — не собирались, для того чтобы проучить герцога, ни лобызать, ни взгревать ему зад. Добродетель in medio stat[1]. Истый галл, когда желает подшутить над людьми, умеет делать это спокойно, под самым их носом, но его не задевая, а главное, не навлекая на себя неприятностей. Мало отомстить: надо еще и повеселиться. Так вот что мы изобрели... Но не рассказывать же мне, какую я придумал славную шутку, когда пьеса еще не сыграна? Нет, нет, разбалтывать нельзя. Достаточно сказать, к чести всех нас, что нашу великую тайну целых две недели знал и хранил весь город. И хоть первая мысль и моя (я этим горжусь), но всякий ее чем-нибудь приукрасил: один подправил ухо, другой прибавил сюда локон, туда ленточку, так что дитя оказалось щедро наделено; отцов было вдоволь. Старшины, голова, осторожно и потихоньку, ежедневно осведомлялись, как растет младенец; а мэтр Делаво, по ночам, укутав нос плащом, являлся побеседовать с нами об этом деле, научая нас способам нарушить закон, в то же время его соблюдая, и торжественно извлекал из карманов какую-нибудь хитроумную латинскую надпись, которая прославляла герцога и нашу покорность, но могла означать как раз и обратное.

Наконец настал великий день. На площади святого Мартына мы ждали старшин, мастера и подмастерья, гладко выбритые, расфуфыренные, смирно выстроив-

[1] Посредине стоит (*лат.*).

шись под нашими знаменами. Ровно в десять зазвонили колокола. Тотчас же, по обе стороны площади, обе двери, и ратуши и святого Мартына, распахнулись настежь, и на ступенях, тут и там (словно шествие часовых фигурок), показались с одной стороны белые стихари священников, а с другой — желтые и зеленые, как айвы, старшины. При виде друг друга они обменялись, поверх наших голов, глубокими поклонами. Затем спустились на площадь, в предшествии одни — ярко-алых служек, в красных одеяниях, с красными носами, а другие — городских приставов, затянутых, звякающих шейными цепями и брякающих о мостовую длинными палашами. Мы, выстроенные вокруг площади, вдоль домов, изображали круг; а начальство, расположенное по самой середке, изображало пуп. Все были налицо. Никто не опоздал. Стряпчие, писцы и нотариус, под хоругвью святого Ива, поверенного господа бога, и аптекаря, лекаря и врачи, тонкие знатоки мочи (всякому по вкусу свое винцо) и клистирных дел мастера, под заступничеством святого Кузьмы, освежителя райских кишок, образовали вокруг головы и старого настоятеля священную гвардию пера и клизмы. Из уважаемых граждан отсутствовал как будто только один: а именно прокурор, представитель герцога, но женатый на дочери господина старшины, добрый кламсиец и местный владелец, который, узнав о затеянном и пуще всего боясь стать на чью-либо сторону, благоразумно ухитрился отлучиться накануне.

Некоторое время бурлили на месте. Словно чан с бродящим суслом. Что за веселый гомон! Говор, смех, настройка скрипок и собачий лай. Ждали... Чего? Потерпите! Сюрприз... Да вот и он! Он еще не по-

казался, а уже волна голосов его опережает, возвещая; и все шеи разом поворачиваются, как флюгера на ветру. На площадь выплывает из Рыночной улицы, несомое на плечах восемью дюжими молодцами и покачиваясь над толпой, деревянное сооружение в виде пирамиды, три стола разной величины, поставленные друг на дружку, разубранные светлыми шелками, ножки обвиты лентами, обшиты позументами, а на вершине, под балдахином с плюмажами и развевающимся каскадом пестрых лент, завешенная статуя. Никто даже не удивился: все были посвящены в тайну. Всякий весьма учтиво снял перед ней шляпу; но мы, старые шутники, посмеивались в колпаки.

Как только эту штуку вынесли на площадь, в самую середину, промеж головы и кюре, цехи двинулись с музыкой, описав сперва вокруг неподвижной оси полный круг, а затем вступили в переулок, который, мимо церковного входа, ведет вниз, к Бевронским воротам.

Первым, как полагается, шагал святой Никола. Калабрийский король, облаченный в церковную мантию, с вышитым на спине золотым солнцем, похожий на жука, держал в своих черных и узлистых руках знамя речного святителя в виде загнутой с обоих концов лодки, на которой Никола благословляет посохом трех малюток, сидящих в кадке. Его сопровождали четыре старых судовщика, несших четыре желтых свечи, толстых, как окорока, и твердых, как дубины, которые они были готовы при первой надобности пустить в ход. И Калабр, хмуря брови и воздевая к святителю свой единственный глаз, шагал расставив ноги и выпячивая то, что служило ему животом.

Далее следовали приятели оловянной кружки, сыны святого Элигия, ножовщики, слесаря, тележники и кузнецы, в предшествии Ганньо с изувеченной рукой, который высоко держал в своей двупалой клешне крест с изваянными на древке молотом и наковальней. А гобои играли «Штаны короля Дагобера».

Затем шли виноградари, бочары, поющие гимн вину и его святому, Викентию, который, взгромоздясь на древко, в одной руке держал жбан, а в другой виноградную гроздь. Мы, столяры и плотники, святой Иосиф и святая Анна, зять и теща, добрые питухи, шагали следом за кабацким угодником, прищелкивая языком и косясь на винцо. А святые Гонории, тучные и белые от муки, несли на багре, словно римский трофей, круглый хлеб в светло-русом венке. За белыми — черные, варом измазанные сапожники, которые плясали вокруг святого Криспина, щелкая шпандырями. И, наконец, на сладкое, святой Фиакр, весь в цветах. Садовники и садовницы, убрав гирляндами роз шляпы, заступы и грабли, несли на носилках груду гвоздик и левкоев. Их красная шелковая хоругвь, изображающая голоногого Фиакра, подоткнувшегося под самый зад и нажимающего ступней на лопату, плескалась на осеннем ветру.

А напоследок тронулось занавешенное сооружение. Девочки в белом, семенившие впереди, мяукали песнопения. Городской голова и трое старшин шли по обе стороны, держа толстые кисти лент, ниспадавших с балдахина. Вокруг них двигались цепью святой Ив и святой Кузьма. Сзади, выпятив зоб, петухом выступал швейцар; и кюре, с двумя аббатами по бокам, из которых один был длинный, как день без хлеба, а другой — круглый и плоский, как хлеб без дрожжей.

затягивал, через каждые десять шагов, низким басом обрывки литании, но себя не утруждая, попеть и другим предоставляя, шевеля губами, сложа руки на животе и засыпая на ходу. А дальше валил остальной народ, целым куском, плотным, упругим месивом, как густой поток. Мы же служили запрудой.

Мы вышли из города. Мы двинулись прямо к лугу. Ветер срывал с платанов листья. Их легкий взвод скакал по солнечной дороге. И медленная река уносила их золотые кольчуги. У заставы три сержанта и новый капитан замка сделали вид, что не хотят нас пропустить. Но, не считая капитана, только что назначенного, новичка в нашем городе и принимавшего все за чистую монету (бедняга прибежал со всех ног, запыхался и яростно вращал глазами), все мы, как воры на базаре, были в стачке. Тем не менее поругались, почертыхались, вступили в драку, это полагалось по роли, играли на совесть; но большого труда стоило не прыснуть со смеху. Однако нельзя было особенно тянуть комедию, потому что Калабр с товарищами начали играть уж слишком хорошо; святой Никола на своем древке становился грозен, а свечи колыхались в кулаках, привлекаемые сержантскими спинами. Тогда выступил городской голова, снял шляпу и крикнул:

— Шапки долой!

В тот же миг упала завеса, покрывавшая статую под балдахином, и городские пристава возгласили:

— Дорогу герцогу!

Шум мгновенно умолк. Святой Никола, святой Элигий, святой Викентий, святой Иосиф со святой Анной, святой Гонорий, святой Фиакр, выстроившись по сторонам, взяли на караул; сержанты и толстый

капитан, совсем растерявшийся, обнажив головы, расступились; и вот, гарцуя на плечах у носильщиков, увенчанный лаврами, в токе набекрень и со шпагой у пояса, предстал изваянный герцог. Во всяком случае, так возвещала urbi et orbi [1] надпись мэтра Делаво; но говоря по правде, — и это особенно забавно, — так как у нас не было ни времени, ни возможности сделать схожее изображение, мы просто достали с чердака ратуши какую-то старую статую (никто не знал толком, ни кого она изображает, ни чьей она работы; единственно, на подножье можно было разобрать полустертое имя «Балтазар», впоследствии ее прозвали «Балдюк»). Ну не все ли равно? Спасает вера. Разве портреты святого Элигия, святого Николы или Иисуса более похожи? Ежели веришь, всюду увидишь, кого хочешь. Требуется бог? Да мне достаточно, если угодно, полена, чтобы вместить и его и мою веру. На этот раз требовался герцог. Его и нашли.

Герцог проследовал мимо склонившихся знамен. Так как луг был его, то он на него и вступил. А мы, дабы оказать ему честь, ему сопутствовали, все до одного, военным строем, с барабанным боем, с трубами и рогами и со святыми дарами. Кто бы мог найти в этом что-нибудь плохое? Разве только плохой верноподданный, человек угрюмый. Волей-неволей пришлось это одобрить и капитану. Ему оставалось одно из двух: или арестовать герцога, или примкнуть к шествию. Он и зашагал в ногу.

Все шло как нельзя лучше, и вдруг у самой пристани чуть не произошло крушение. У входа святой

[1] Всему свету (*лат.*).

Элигий задел святого Николу, а святой Иосиф сцепился с тещей. Всякий норовил пролезть первым, не считаясь ни с возрастом, ни с приличиями, ни с уважением к дамам. А так как в этот день все собрались готовые к бою и в настроении воинственном, то у всех чесались кулаки. К счастью, я, который зараз и с Николой по имени, и с Иосифом и Анной по ремеслу, не говоря уже о моем молочном братце, святом Викентии, вскормленном на винограде; я, который за всех святых, лишь бы они были за меня, я приметил тележку, проезжавшую мимо с виноградника, и Гамби, моего приятеля, ковылявшего рядом, и крикнул:

— Друзья! Среди нас нет первых. Обнимемся! Вот кто всех нас помирит, наш властелин, единственный (после герцога, само собой). Он явился. Привет ему! Да здравствует Бахус!

И, подхватив Гамби под ляжки, я водружаю его на карафашке, где он скользит и шлепается в чан с давленым виноградом. Затем хватаю вожжи, и мы первыми въезжаем на Графский луг; Бахус, полоща свой пьедестал в алом соку, увенчанный виноградными листьями, дрыгал ногами и хохотал. Взявшись под ручку, все святые угодники и угодницы шли вприпляску позади зада торжествующего Бахуса. Славно было на травке! Танцевали, ели, играли, прохлаждались целый день вокруг доброго герцога... А к утру луг был похож на свиной хлев. Ни травинки. Наши подошвы, запечатленные в нежной земле, свидетельствовали о том усердии, с каким город чествовал герцога. Я думаю, он остался доволен. А о нас и говорить нечего!.. Надо, впрочем, сказать, что на следующий день прокурор, вернувшись, счел нужным возму-

титься, протестовать, грозить. Но он ничего не предпринял, остерегся. Правда, он начал следствие, но так его и не кончил: конец не всегда делу венец. Никому не было охоты доискиваться.

Вот как мы показали, что кламсийцы умеют быть покорными подданными своего герцога и короля и в то же время поступать всегда так, как им втемяшится в голову: она у них деревянная. И этот удачный опыт вернул веселость исстрадавшемуся городу. Люди ожили. Встречались подмигивая, поднимались смеясь и думали про себя:

«Есть еще крошки в нашем лукошке. Самого лучшего у нас не отняли. Все в порядке».

И память о наших бедствиях улетучилась.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ЧУЖОЙ ДОМ

Октябрь

Мне нужно было все-таки, наконец, решить, где мне жить. Пока можно было, я откладывал. Чтобы лучше прыгнуть, берешь разгон. С тех пор как мой очаг превратился в пепелище, я гостил день тут, день там, то у одного приятеля, то у другого; народу было довольно, чтобы приютить меня на ночь-другую, до поры. Пока воспоминание об общей беде еще тяготело надо всеми, все были как стадо и всякий чувствовал себя у чужих вроде как бы дома. Но долго так тянуться не могло. Опасность удалялась. Всякий понемногу вбирал тело в ракушку. Кроме тех, у кого тела уже не было, да меня, у которого не было больше ракушки. А поселиться в гостинице я не мог. Двое моих сыновей и дочь — кламсийские граждане, они бы мне не позволили. Не то чтобы молодых людей это очень уязвило в их сыновних чувствах. Но что стали бы говорить!.. Однако они не так уж торопились меня залучить. Сам я тоже не спешил. Слишком уж мои вольные речи плохо вяжутся с их ханжеством. Кому из них принести себя в жертву отцу? Бедняги! Они были не в меньшем затруднении, чем я. На их счастье, Мартина, славная моя дочка, как будто в самом деле меня любит. Она требовала меня к себе во что бы то ни стало... Да, но имеется мой зять. Я знаю сам, у этого человека нет оснований желать меня видеть у себя. И вот все они принялись следить друг за другом, следить за мной сердитыми глазами. А я от

них бежал; мне казалось, будто мое старое тело продают с молотка.

Временно я устроился в моем кута, на Бомонском склоне. Это там я, в июле месяце, старый повеса, переспал с чумой. Ведь всего забавнее, что эти болваны, которые, оздоровления ради, сожгли мой чистый дом, не тронули лачуги, где побывала смерть. Я, который уже не боюсь госпожи безносой, был очень рад опять очутиться в хижине с земляным полом, где валялись сосуды предсмертной вечери. Говоря откровенно, я знал, что зазимовать в этой дыре я не смогу. Дверь расселась, окно выбито, а крыша каплет изо всех дыр, словно над вами подвешен сыр. Но сейчас дождя не было, а завтра успеется подумать о завтрашнем. Я не любитель терзаться неведомым будущим. А потом, когда мне не удается распутать, с удобством для себя, какое-нибудь затруднение, я помогаю себе тем, что перестаю думать об этом деле до следующей недели. Мне говорят: «Много ты выиграл? Все равно придется проглотить пилюлю».— «Это смотря как, — отвечаю я. — Почем знать, может быть, через неделю и мира-то не будет. Вот-то я буду огорчен, что поторопился, если пилюлю я проглочу, а тут затрубят господни трубы! Мой друг, счастья не откладывай ни на час! Счастье надо пить свежим. А неприятность может и подождать. Если бутылка и выдохнется, то это только лучше».

Итак, я ждал или, вернее, заставлял дожидаться то неприятное решение, которое рано или поздно мне предстояло принять. А чтобы тем временем ничто мне не мешало, я запер дверь на засов и забаррикадировался. Мысли мои меня не тяготили. Я копался в своем саду, расчищал дорожки, окучивал сеянцы под

опавшей листвой, подрезал артишоки, лечил болячки и раны старых деревьев: словом, обряжал сударыню-землю, собиравшуюся уснуть под зимним пуховиком. Затем, чтобы себя вознаградить, я отправлялся пощупать бока какой-нибудь хорошенькой дуле, рыжей или желто-мраморной, забытой на ветке... Господи, до чего приятно, когда набьешь рот и у тебя, тая, ходит в глотке вверх и вниз, во всю ее длину, душистый сок! В город я наведывался, только когда нужно было возобновить запасы (я разумею не только харч и питье, но и новости). Я боялся встретиться со своим потомством. Я им сообщил, что я в отъезде. Не поручусь, что они этому поверили; но, как почтительные сыновья, опровергать этого они не хотели. Таким образом, мы словно играли в прятки, как мальчишки, которые кричат: «Волк, ты здесь?»; и мы могли бы еще некоторое время, чтобы тянуть игру, отвечать: «Волка нет...» — если бы не Мартина. Женщина, когда играет, всегда плутует. Мартина не верила. Мартина меня знает: Мартина быстро разгадала мои хитрости. Она шутить не любит, когда дело касается взаимных обязанностей отцов и детей, братьев, сестер и прочих.

Однажды вечером, выйдя из кута, я увидел, что она взбирается по косогору. Я вернулся и запер вход. Затем присел под оградой и замер. Она подошла к калитке, стук, крик, свист. Я был недвижим, как мертвый лист. Я затаил дыхание (как назло, меня разбирал кашель). Она, не переставая, кричала:

— Да отопри же! Я знаю, что ты тут.

И кулаком и каблуком колотила калитку. Я думал: «Ну и бабенка! Если дверь не выдержит, мне каюк». Я уже готов был отворить, чтобы расцеловать

ее. Но так не играют. А я, когда играю, всегда хочу выиграть. Я заупрямился. Мартина покричала, затем перестала. Я слышал, как она удаляется неуверенным шагом. Я покинул свой тайничок и ну хохотать... хохотать и кашлять... Я давился от смеха. Нахохотавшись всласть и вытирая глаза, вдруг я слышу за собой, с ограды, голос:

— И тебе не стыдно?

Я чуть не грохнулся. Вздрагиваю, оборачиваюсь и вижу Мартину, которая, уцепившись за ограду, смотрит на меня. Со строгим взглядом она говорит:

— Попался, старый фокусник!

Я отвечаю растерянно:

— Попался.

Тут мы оба прыснули со смеху. Я смиренно пошел отворить. Она вошла, как Цезарь, стала передо мной и, взяв меня за бороду, сказала:

— Проси прощения.

Я сказал.

— Mea culpa.

(Но это как на исповеди: про себя знаешь, что завтра начнешь опять.)

Она не выпускала моей бороденки, подергивала ее и поваркивала:

— Срам! Срам! Старый старичок: отрастил седой клочок, а в голове умишки, как у малого мальчишки!

Раз, другой, третий потянула она ее, как колокол, вправо, влево, вверх, вниз, потом похлопала меня по щекам и поцеловала.

— Почему ты не шел, гадкий? — сказала она. — Гадкий, ты же знал, что я тебя жду!

— Доченька моя,— говорю,— я все тебе объясню...

— Объяснишь у меня. Ну, живо, идем!

— Позволь! Да я не готов! Дай мне собрать мои пожитки!

— Твои пожитки! Господи боже! Я их тебе соберу.

Она накинула мне на плечи мой старый плащ, нахлобучила мне на голову мою потертую поярковую шляпу, застегнула меня, отряхнула и сказала:

— Готово! Теперь в путь!

— Одну минутку, — говорю.

И присел на ступеньку.

— Как? — возмутилась она. — Ты сопротивляешься? Ты не хочешь идти ко мне?

— Я не сопротивляюсь, — говорю, — придется к тебе идти, раз уж нельзя иначе.

— Ты очень любезен! — сказала она. — Так вот твоя любовь!

— Я тебя очень люблю, дорогая ты моя дочка,— отвечаю я ей, я тебя очень люблю. Но мне было бы приятнее видеть тебя у себя, чем жить у чужого человека.

— Так я чужой человек! — сказала она.

— Ты его половина.

— Ну, нет! — воскликнула она. — Не половина и не четверть. Я — целиком я, от головы до ног. Я его жена: это возможно. Но он мой муж. И я хочу того же, что и он, если он хочет того же, что и я. Ты можешь быть спокоен: он будет в восторге, что ты поселился у меня. Ха-ха! Хотела бы я посмотреть, как бы это он не был в восторге!

Я сказал:

— Охотно верю! Это как когда господин де Невер ставит к нам постой. У меня их много стояло. Но я-то не привык жить на постое.

— Привыкнешь! — сказала она. — Никаких возражений больше! Идем!

— Ладно. Только с одним условием.

— Сразу же и условия? Ты быстро привык.

— Что меня устроят так, как я пожелаю.

— Ты, я вижу, намерен изображать тирана? Ну хорошо, будь по-твоему.

— Даешь слово?

— Даю слово.

— И затем...

— Довольно, болтун. Да идешь ли ты?

Она схватила меня за локоть, ой-ой-ой, ну и клешня! Пришлось двинуться в путь.

Когда мы пришли к ней в дом, она показала мне комнату, которую отвела для меня: рядом с лавкой; очень теплую, и у нее под крылышком. Моя добрая дочь обращалась со мной, словно я был младенец грудной. Чисто убранная кровать: мягкие перины, сладко спать. А рядом, на столе, пучок вереска в хрустале. Я улыбался про себя, меня это и забавляло и трогало; чтобы отблагодарить ее, я решил: «Милая Мартина, я тебя позлю».

И заявил без дальних слов:

— Это мне не подходит.

Она показала мне, с обиженным видом, все остальные комнаты нижнего жилья. Я ни одной из них не пожелал и остановил свой выбор на маленьком чуланчике под крышей. Она подняла крик, но я ей сказал:

— Милая моя, это как тебе будет угодно. Одно из двух. Или я устраиваюсь здесь, или я возвращаюсь в кута.

Ей пришлось уступить. Но с тех пор, что ни день, и каждый божий час, она принималась за свое:

— Тебе нельзя там оставаться, тебе лучше будет внизу; скажи мне, чем ты недоволен; да почему ты не хочешь, деревянная твоя голова?

Я отвечал, посмеиваясь:

— А потому что не хочу.

— Ты меня бесишь,— кричала она, негодуя. — Но я знаю, почему... Гордец! Гордец, который не желает быть чем-либо обязан своим детям, мне! Мне! Я тебя отколотить готова!

— Этим способом,— говорю,— ты бы меня заставила принять от тебя хоть колотушки.

— Ты бессердечный человек,— сказала она.

— Доченька ты моя!

— Ишь, какой сладкий. Прочь лапы, гадкий!

— Милая ты моя, большая ты моя, хорошая ты моя, красавица!

— Ты еще ухаживать, подлипало этакий? Льстец, пустомеля, врун! Да перестанешь ли ты смеяться мне в глаза кривым своим ртищем?

— Посмотри на меня. Ты тоже смеешься.

— Нет.

— Смеешься.

— Нет! Нет! Нет!

— А я вижу... вот.

И я ткнул пальцем в ее вздувшуюся от смеха щеку, которая так и прыснула.

— Это просто глупо,— сказала она.— Я на тебя зла, я тебя ненавижу, и я даже не имею права сердиться! Я должна, хочу не хочу, смеяться ужимкам этой старой обезьяны! А только так и знай, я терпеть тебя не могу. Злой, нищий, разоренный, а корчит Артабана, разыгрывает гордеца перед родными детьми! Ты не имеешь права.

— Это единственное право, которое у меня осталось.

Она наговорила мне еще много резких слов. Я ей отвечал не менее колкими. У нас с нею, у обоих, языки точильщиков, мы вострим слова на кремневом колесе. К счастью, когда мы разозлимся вконец, мы всякий раз отпустим, она или я, какую-нибудь уморительную шутку и хохочем, нет сил удержаться. И все начинай сначала.

Когда она достаточно потрезвонила языком (я уже давно и слушать-то перестал), я ей сказал:

— На сегодня хватит. Продолжим завтра.

Она мне говорит:

— Покойной ночи. Так ты не хочешь?..

Молчание.

— Гордец! Гордец! — повторяет она.

— Послушай, милая моя. Я гордец, Артабан, павлин, все, что хочешь. Но скажи мне откровенно: если бы ты была на моем месте, как бы ты поступила?

Она подумала и сказала:

— Я поступила бы так же.

— Ну, вот видишь? А теперь поцелуй меня, и покойной ночи.

Она угрюмо поцеловала меня и ушла, ворча:

— И пошлет же бог в подарок этаких две головушки.

— Вот, вот,— говорю,— проучи его, душа моя, его, но не меня.

— И проучу, — отвечала она.— Но только ты этим не отделаешься.

Я и не отделался. На следующее утро она начала сначала. И уже не знаю, сколько пришлось на долю бога, а только мне досталось много.

Я как сыр в масле катался первые дни. Всякий меня лелеял и баловал; сам Флоримон за мной ухаживал и был ко мне внимательнее, чем даже требовалось. Мартина за ним следила, ревнуя обо мне больше, нежели я сам. Глоди меня угощала своей милой болтовней. Сажали меня в самое лучшее кресло. За столом подавали первому. Когда я говорил, слушали. Мне было очень хорошо, очень хорошо... Уф! Просто сил не было! Я не мог выдержать; мне не сиделось на месте; каждые три минуты я путешествовал то вниз, то вверх по лестнице, которая вела на мой чердак. Это изводило всех. Мартина, не из терпеливых, всякий раз вздрагивала и молча ежилась, заслышав скрип моих шагов. Будь это еще хоть летом, я бы пускался странствовать. Я и странствовал, но только дома. Осень была студеная; густой туман застилал поля; а дождь лил да лил, день и ночь. Я был пригвожден к месту. А место было не мое, чтоб его! У этого бедняги Флоримона был дурацкий вкус, с претензиями; Мартина на это не смотрела; и все в доме — мебель, вещи — меня коробило; я страдал; мне хотелось все переменить и переставить, так руки и чесались. Но владелец следил зорко: стоило мне до чего-нибудь дотронуться, подымалась целая история. Был там в столовой в особенности один кувшин, украшенный парой целующихся голубков и слащавой девицей с жеманным обожателем. Меня от него тошнило; я умолял Флоримона хотя бы убрать его со стола, когда я ем; у меня куски в горле застревали, я давился. Но этот скотина (это было его право) не желал. Он гордился этим лакомым кусочком: если вещь была сборная, он видел в ней верх искусства. И мои гримасы всех только веселили.

Что тут делать? Смеяться над самим собой; ясное дело, я был дурак. Но по ночам я ворочался в постели, как котлета, в то время как на сковороде, то есть на крыше у меня над головой, безостановочно потрескивал дождь. А расхаживать на чердаке у себя я не решался, потому что от моей тяжелой поступи он сотрясался. И вот однажды, сидя в раздумье на постели и свесив голые ноги, я сказал себе: «Кола Брюньон, не знаю когда и как, но я отстрою свой дом». С этой минуты я повеселел: у меня был тайный замысел. Я, разумеется, не стал говорить о нем детям: они бы мне ответили, что в смысле жилища для меня всего пригоднее сумасшедший дом. Но где достать денег? Прошли Орфеевы века, не Амфионы пастыри народов, не водят камни хороводов, схватив друг дружку под бока, и не возводят стен и сводов иначе, как под песню кошелька. А мой кошелек и совсем онемел, хоть, правда, и раньше скверно пел.

Я, не колеблясь, воззвал к кошельку моего приятеля Пайара. Откровенно говоря, этот почтенный человек мне его не предлагал. Но так как мне бывает просто приятно обратиться к другу за услугой, то я думаю, что и ему должно быть не менее приятно мне ее оказать. Я воспользовался затишьем на небеси, чтобы сходить в Дорнеси. Висели низкие серые тучи. Влажный и усталый ветер налетал, как большая мокрая птица. Земля прилипала к ногам; а на поля осыпались, рея, желтые листья орешников. Не успел я раскрыть рот, как Пайар встревоженно меня перебил и начал жаловаться на застой в делах, на скудные поступления, на безденежье, на своих клиентов, так что я ему сказал:

— Пайар, моя душа, хочешь в долг полгроша?

Я был обижен. Он еще того больше. И мы продолжали хмуро беседовать, с холодными лицами, о том, о сем, я — озлобленный, он — сконфуженный. Он раскаивался в своей скаредности. Бедный старик — человек неплохой; он меня любит, я это знаю, еще бы; он бы с удовольствием отдал мне свои деньги, если бы это ему ничего не стоило; и даже, прояви я настойчивость, я бы добился от него того, чего я хотел; но не его вина, если в нем сидят три столетия ростовщиков. Можно быть обывателем и в то же время щедрым, конечно; это случается иной раз или случалось, говорят; но всякий добрый обыватель, если дотронуться до его кошелька, первым делом невольно скажет «нет». Мой приятель дорого бы дал теперь, чтобы сказать «да», но для этого требовалось, чтобы я вернулся к прежнему; а я не желал. Я человек гордый; когда я обращаюсь к приятелю с просьбой, я считаю, что доставляю ему большое удовольствие; и если он колеблется, я больше не хочу, ему же хуже! Итак, мы беседовали о вещах посторонних сердитым голосом и с тяжестью на душе. Я отказался от завтрака (это его окончательно расстроило). Я встал. Понурив голову, он проводил меня до порога. Но, берясь уже за ручку двери, я не выдержал, обвил рукой его старую шею и молча поцеловал его. Он от души ответил мне тем же. Потом робко спросил:

— Кола, Кола, хочешь?..

Я сказал:

— Об этом не будем больше говорить.

(Я упрям.)

— Кола,— продолжал он с виноватым видом, — останься хоть позавтракать.

— Это,— говорю,— другое дело. Позавтракаем, друг Пайар.

Мы поели за четверых; но я остался твердокаменным и от своего решения не отступил. Конечно, я сам себя наказывал. Но и его тоже.

Я вернулся в Кламси. Предстояло отстроить заново мое жилье, без рабочих и без денег. Остановить меня это не могло. Что я себе ввинтил в голову, ввинчено, черт возьми, не в каблук. Я начал с того, что внимательно осмотрел пожарище, отбирая все, что могло пригодиться: обгорелые балки, почернелые кирпичи, старое железо, четыре шаткие стены, черные, как шапка трубочиста. Затем я повадился ходить тайком в Шеврош, в каменоломни, ковырять, скоблить, глодать земные кости, славный камень, красивый и кровавый, у которого в прожилках словно запекшаяся кровь. И весьма возможно также, что, идучи лесом, я иной раз помог какому-нибудь престарелому дубу, доживавшему свой век, обрести покой. Быть может, это запрещено; возможно и это. Но если делать только то, что разрешено, слишком уж трудно было бы жить. Леса принадлежат городу, и для того, чтобы ими пользовались. Ими и пользуются, не подымая шума, само собой. И пользуются в меру, потому что помнят: «Надо оставить и другим». Но взять — это еще пустяки. Требовалось унести. Благодаря соседям я управился и с этим: кто ссудил повозкой, кто волами или инструментом, а кто и просто подсобил, благо это ничего не стоит. У ближнего своего можно попросить все что угодно, даже его жену, но только не денег. Я его понимаю: деньги — это то, что может еще быть, то, что будет, то, что могло бы быть за деньги, все, о чем мечтаешь;

а остальное уже есть: это все равно как если бы его и не было.

К тому времени, когда мы с Робине, он же Бине, смогли, наконец, приступить к установке первых лесов, настали холода. Меня называли сумасшедшим. Дети мои ежедневно устраивали мне сцены; а наиболее снисходительные советовали мне подождать хотя бы до весны. Но я и слышать не желал; я ничего так не люблю, как злить людей или их вождей. Слов нет, я отлично знал, что не смогу своими силами, да еще зимой, выстроить дом! Но с меня довольно было бы шалаша, крыши, кроличьей будки. Я человек общительный, это верно, но я желаю быть им, когда захочу, а если мне неугодно, то и не быть. Я словоохотлив, я люблю побеседовать с людьми, это верно, но я хочу иметь возможность беседовать и с собой, наедине, когда мне вздумается; из всех моих собеседников это наилучший, и я им дорожу; чтобы с ним повидаться, я готов пройти босиком по морозу, без штанов. И вот именно для того, чтобы без всякой помехи вести разговоры с самим собой, я и строил с таким упорством, невзирая ни на какие пересуды, свой дом и посмеивался над нравоучениями моих детей.

Увы! Последним посмеялся не я... Однажды утром, в конце октября, когда город весь закутался в иней, а на мостовой поблескивала серебряная слюна гололедицы, я, взбираясь на леса, поскользнулся на перекладине и — трах! — очутился внизу скорее, нежели снизу взобрался наверх. Бине кричал:

— Он убился!

Сбежался народ, поднял меня. Мне было досадно. Я сказал:

— Да это я нарочно...

Я хотел встать сам. Ай, щиколотка, щиколоточка моя! Я упал опять... Щиколоточка оказалась сломана. Меня уложили на носилки. Мартина, идя рядом, вздымала руки; а соседки шли следом, причитая и обсуждая случившееся; мы напоминали картину, сошедшую с холста: положение во гроб Иисуса Христа. Мои Марии власть кричали, махали руками и топотали. Мертвый бы проснулся. Я-то не был мертв; но притворялся таковым: иначе весь этот дождь обрушился бы на меня. И, благолепный, недвижимый, с торчащим к небу тычком бородки, я злобствовал в душе, хоть вид имел прекроткий...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ЧТЕНИЕ ПЛУТАРХА

Конец октября

Вот я и пойман за лапку... За лапку! Господи, уж сломал бы ты мне, если это тебе так нравится, ребро или руку и оставил бы мне мои подпорки! Я бы, разумеется, тоже стонал, но не стонал поверженный. Ах, неладный, проклятый! (Благословенно его святое имя!) Он как будто только и думает, чем бы вас извести. Он знает, что для меня дороже всех земных благ, дороже труда, кутежа, любви и дружбы та, кого я завоевал, дочь не богов, а людей, моя свобода. Вот поэтому-то (ему небось смешно, шельмецу) он и привязал меня за ногу в моей конуре. И вот я созерцаю, лежа на спине, как жук, паутину, чердачные балки. Вот моя свобода!.. А все ж таки я еще не попался, милый ты мой. Вяжи мой костяк, привязывай, обматывай, затягивай, ну-ка, еще разок, как вяжут цыплят, когда сажают их на вертел!.. Ну, что, поймал как будто? А дух? Что с ним ты сделаешь? Глядишь, он и упорхнул, и с ним моя фантазия. Попробуй-ка их поймать! Для этого нужны здоровые ноги. У моей кумы-фантазии они не переломаны. Ну-ка, догоняй, приятель!

Должен сказать, что поначалу я был сильно не в духах. Язык у меня остался, и я им пользовался, для того чтобы ругаться. Все эти дни ко мне лучше было не подходить. Между тем я знал, что в моем падении мне некого винить, кроме самого себя. Знал я это отлично. Все, кто меня навещал, трубили мне в уши:

— Ведь говорили тебе! Выдумал тоже лазить, как кошка! Старый бородач! Тебя предостерегали. Но ты

никогда не желаешь слушать. Вечно тебе надо бегать. Ну вот и бегай теперь! Сам виноват...

Хорошее утешение! Когда ты несчастен, доказывать тебе всячески, чтобы тебя подбодрить, что ты к тому же еще дурак! Мартина, мой зять, друзья, посторонние — все, кто меня навещал, словно сговорились. А я должен был выносить их разносы, не шевелясь, с ногой в капкане, лопаясь от злости. Даже плутовка Глоди, и та ведь сказала, поди:

— Ты плохо себя вел, дедушка, поделом тебе!

Я швырнул в нее колпаком и крикнул:

— Чтоб вам всем провалиться!

И вот я остался один, и веселей от этого не стало. Мартина, славная дочка, настаивала на том, чтобы мою постель перенести вниз, в комнату рядом с лавкой. Но я (говоря по совести, я был бы этому очень рад), но я если раз сказал «нет», черта с два, так это уж «нет»! А потом, неприятно, когда ты калека, показываться людям. Мартина неутомимо возвращалась все к тому же: назойливая, как бывают только мухи и женщины. Если бы она меньше говорила, мне кажется, я уступил бы. Но она чересчур уж упорствовала: согласись я, она бы с утра до ночи трубила победу. И я отправил ее прогуляться подальше. Понятное дело, все и прогуливались, кроме меня, разумеется; меня оставили валяться на чердаке. Жаловаться тебе не на что, Кола, ты сам этого хотел!..

Но истинной причины, почему я упрямился, я не говорил никому. Когда ты не дома, когда ты у чужих, то боишься стеснить, не хочешь перед ними обязываться. Это расчет неверный, если хочешь, чтобы тебя любили. Худшая из глупостей — это дать себя забыть. Забывали меня легко. Я никуда не показывался. Не

показывались и ко мне. Даже Глоди меня забрасывала. Мне слышно было, как она смеется внизу; и, слыша ее, я и сам в душе смеялся; но при этом вздыхал: потому что мне очень хотелось бы знать, чему она смеется... «Неблагодарная!» Я обвинял ее, но понимал, что на ее месте я поступал бы точно так же... «Веселись, моя красотка!..» Но только, когда не можешь шевельнуться, надо же, чтобы себя чем-нибудь занять, чуточку разыграть Иова, изрыгающего хулу на своем гноище.

Однажды, когда я угрюмо лежал на этом самом гноище, пришел Пайар. Признаться, встретил я его не очень-то ласково. Он сидел передо мной, в ногах кровати. В руках он бережно держал завернутую книгу. Он пытался вести беседу и безуспешно затрагивал то одну тему, то другую. Всем им я сворачивал шею, с первого же слова, с видом свирепым. Он не знал, что и сказать, покашливал, похлопывал рукой по краю кровати. Я попросил его перестать. Тогда он совсем затих и не смел шелохнуться. Я в душе посмеивался и думал:

«Милый мой, теперь тебя мучит совесть. Если бы ты дал мне взаймы, когда я тебя просил, мне бы не пришлось изображать из себя каменщика. Я сломал себе ногу: вот тебе! Сам виноват! Это из-за твоей скупости я теперь в таком виде».

Итак, он не решался со мной заговорить; я тоже силился сдержать язык, но мне до смерти хотелось им пошевелить, и я не выдержал.

— Да говори же ты! — сказал я ему.— Или ты у изголовья умирающего? Что это такое: прийти и молчать! Ну, говори или убирайся! Да не ворочай глазами. Не тереби книгу. Что это у тебя такое?

Бедняга встал:

— Я вижу, что я тебя раздражаю, Кола. И я ухожу. Я принес было эту книгу... Это, видишь ли, Плутарх, «Жизнеописания знаменитых людей», переложенные на французский язык мессиром Жаком Амио, епископом Оксеррским. Я думал...

(Он все еще не мог решиться окончательно.)

— ...что, может быть, тебе доставит...

(Боже, чего это ему стоило!)

— ...удовольствие, вернее, утешение, ее общество...

Зная, до чего этот старый стяжатель, обожающий книги еще больше, чем деньги, не любит их никому давать (когда, бывало, дотронешься до одной из них в шкафу, он строил рожу страдающего любовника, который видит, как грубый нахал тискает грудь его возлюбленной), я был тронут величием жертвы. Я сказал:

— Старый друг, ты лучше меня, я скотина; я обошелся с тобой нехорошо. Приди поцелуй меня.

Мы поцеловались. Я взял книгу. Он был бы рад ее у меня отобрать.

— Ты будешь ее очень беречь?

— Не беспокойся,— ответил я,— это будет моя подушка.

Он ушел нехотя, видимо не очень успокоенный.

И я остался вдвоем с Плутархом Херонейским, маленьким пузатым томиком, поперек себя толще, в тысячу триста страниц, убористых и плотных, напичканных словами, как мелким зерном. Я подумал:

«Тут хватит корму на три года, без передышки, для трех ослов».

Сперва я принялся разглядывать, в начале каждой главы, в круглых медальонах, головы всех этих знаменитых, отрезанные и завернутые в лавровые

листья. Им не хватало только пучка петрушки в носу. Я думал:

«Какое мне дело до этих греков и римлян? Они умерли и мертвы, а мы живы. Что они могут рассказать, чего бы я не знал не хуже их? Что человек весьма дрянной, хоть и занятный, скот, что вино хорошеет с течением лет, а женщина нет, что во всех странах, и там, и тут, большие маленьких грызут, а когда беда стрясется и с ними, маленькие смеются над большими? Все эти римские врали витийствуют пространно. Я красноречие люблю, но я их предупреждаю заранее: говорить будут не только они; я им позатыкаю клювы...»

Затем я снисходительно начал перелистывать книгу, рассеянно закидывая в нее скучающий взгляд, словно удочку в реку. И так и замер, друзья мои... Друзья мои, ну и улов!.. Не успевал поплавок подержаться на воде, как он нырял, и я вытягивал — таких карпов, таких щук! Неведомых рыб, золотых, серебряных, радужных, усеянных самоцветными каменьями и рассыпавших вокруг целый дождь искр... И они жили, плясали, извивались, прыгали, шевелили жабрами и били хвостом! А я-то считал их мертвыми!.. Если бы теперь рухнул мир, я бы, кажется, не заметил; я следил за удочкой: вот уж клевало, вот уже клевало! Ну-ка, что за чудище вылезет из воды на этот раз?.. И трах — чудесная рыбина взлетает на лёсе, с белым брюхом и в кольчуге, зеленой, как колос, или синей, как слива, сверкающей на солнце!.. Дни, которые я за этим провел (дни или недели?),— перл моей жизни. Благословенна моя болезнь!

И благословенны мои глаза, сквозь которые проникают в меня чудесные видения, замкнутые в кни-

гах! Мои колдовские глаза, которые из-под узора жирных и узких значков, бредущих черным стадом по странице, меж двух канав ее полей, воскрешают исчезнувшие воинства, рухнувшие города, римских витий и суровых вояк, героев и красавиц, водивших их за нос, широкий ветер равнин, лучезарное море, и синь восточных небес, и мир, который исчез!..

Передо мной проходит Цезарь, бледный, хрупкий и маленький, возлежащий на носилках, посреди рубак, которые идут за ним, ворча, и этот обжора Антоний, который путешествует со своими поставцами, посудой и блудницами, объедается у опушки зеленой рощи, пьет, блюет и снова пьет, съедает за обедом восемь жареных кабанов и удит соленую рыбу, и размеренный Помпей, которого Флора кусает от любви, и Полиоркет, в широкой шляпе и золотой мантии, на которой изображены земля и небесные круги, и великий Артаксеркс, царящий, как бык, над черно-белым стадом своих четырехсот жен, и одетый Вакхом красавец Александр, который возвращается из Индии на колеснице, влекомой восемью конями, разубранной свежими ветками и пурпурными коврами, под звуки скрипок, свирелей и гобоев, который пьет и пирует со своими полководцами, украсив шляпы цветами, а его войско следует за ним с чашами в руках и женщины скачут, как козы... Ну, разве это не чудесно? Царицу Клеопатру, флейтистку Ламию и Статиру, до того прекрасную, что больно глазам, тут же под носом у Антония, Алекса или Артаксеркса я беру, если хочу, я ими наслаждаюсь, я ими обладаю. Я вступаю в Экбтану, я пью с Фаидой, я сплю с Роксаной, я уношу на спине, в котомке, увязанную Клеопатру; вместе с Антиохом, багровеющим и пламенеющим страстью к

Стратонике, я томлюсь по своей мачехе (забавное дело!), опустошаю Галлию, прихожу, вижу, побеждаю, и (что очень приятно) все это не стоит мне ни капли крови.

Я богат. Каждая повесть — каравелла, привозящая из Индии или Берберии драгоценные металлы, старые вина в мехах, диковинных зверей, пленных рабов... что за молодцы! Какая грудь! Какие бедра!.. Все это мое. Царства жили, росли и умирали на забаву мне...

Что это за карнавал такой? Я словно становлюсь по очереди каждой из этих масок. Я забираюсь в их кожу; облекаюсь в их тело, в их страсти; и пляшу. При этом я и балетмейстер, я дирижирую музыкой, я старих Плутарх; это я, и не иначе, это я написал (ведь этакая мне счастливая мысль пришла!) все эти побасенки... Какое наслаждение чувствовать, как музыка слов и пляска фраз, кружа и смеясь, уносят тебя на простор, свободного от телесных уз, от мук, от старости!.. Дух — ведь это же господь бог! Хвала святому духу!

Иной раз, остановившись посредине рассказа, я присочиняю конец; затем сличаю создание моей фантазии с тем, которое изваяно жизнью или искусством. Когда его ваяло искусство, я нередко разгадываю загадку: ведь я же старая лиса, знаю всякие хитрости и посмеиваюсь в бороду, что их пронюхал. Но когда ваяла жизнь, я подчас плошаю. Она лукавее нас, и ее выдумки почище наших. Вот уж буйная особа!.. И только в одном она никогда не разнообразит свой рассказ: это когда надо поставить точку. Войны, любовные страсти, веселые шутки — все кончается известным вам прыжком туда, в яму. Тут она повторяется

всякий раз. Словно капризный ребенок, который, наигравшись, ломает свои игрушки. Я здесь, я кричу ей: «Грубое создание, да оставь же мне ее!» Отнимаю... Поздно! Игрушка сломана... И мне сладостно бывает баюкать, как делает Глоди, обломки моей куклы. И эта смерть, возникающая, как бой часов, при каждом обороте стрелки, приобретает прелесть припева. Звоните, колокола, гуди, трезвон: динь-динь-дон!

«Я — Кир, покоривший Азию, властитель персов, и я прошу тебя, друг, не завидуй этой малости земли, прикрывающей мое бедное тело...»

Я перечитываю это надгробие, стоя рядом с Александром, который содрогается в плоти своей, готовый его покинуть, ибо ему чудится уже собственный его голос, поднимающийся из-под земли. О Кир, Александр, насколько вы мне ближе, когда я вижу вас мертвыми!

Вижу я их, или это мне снится?.. Я щиплю себя, говорю: «Эй, Кола, ты не спишь?» Тогда я беру со столика, возле кровати, обе медали (я их откопал у себя на винограднике в прошлом году), волосатого Коммода, одетого Геркулесом, и Криспину Августу, с жирным подбородком, с хищным носом. Я говорю: «Я не сплю, глаза мои открыты, я держу Рим на ладони...»

До чего приятно бывает теряться в размышлениях нравственного порядка, спорить с самим собой, пересматривать заново мировые вопросы, разрешенные силой, переходить через Рубикон... нет, оставаться на берегу... переходить нам или нет? Сражаться с Брутом или с Цезарем, соглашаться с ним, потом не соглашаться, да еще так красноречиво, и до того запутываться, что под конец забываешь вполне, на чьей ты

стороне! Это занятнее всегда: ты весь полон темой, раздражаешься речами, доказываешь, вот-вот докажешь, отвечаешь, возражаешь; грудь с грудью, выпад, взмах, ну-ка, отрази!.. В конце концов ты же и проткнут... Быть побитым самим собою! Это уж обидно... Виноват Плутарх. У него такой золотой слог, и он так добродушно говорит вам: «Милый мой друг», что всегда оказываешься одного с ним мнения; а у него их столько, сколько самих рассказов. Словом, из всех его героев я всякий раз предпочитаю того, о котором только что прочел. Да и сами они, как и мы, все подчинены единой героине, впряжены в ее колесницу... Триумфы Помпея, что вы в сравнении с этим? Она правит историей. Я разумею Фортуну, чье колесо крутится, крутится и никогда не пребывает «в одном положении, подобно луне», как говорит у Софокла рогач Менелай. И это весьма утешительно, раз она такая шалунья,— особенно для тех, кто не вышел из новолунья.

Временами я говорю себе: «Послушай, Брюньон, мой друг, и какого черта ты всем этим интересуешься? Какое тебе дело, скажи ты мне, пожалуйста, до римской славы? Или до сумасбродства всех этих великих разбойников? С тебя хватит и твоих, они тебе по росту. Видно, досужий ты человек, что занимаешься пороками и невзгодами людей, умерших тысячу восемьсот лет назад! Потому что ведь, милый ты мой (это проповедует господин Брюньон, чинный, степенный кламсийский обыватель), согласись сам: твой Цезарь, твой Антоний и шлюха их Клео, твои персидские цари, которые режут родных сыновей и женятся на родных дочерях,— сущие прохвосты. Они умерли; это лучшее из всего, что они сделали за всю свою жизнь. Оставь их прах в покое. Как это может взрослый человек на-

ходить удовольствие в подобных безумствах? Посмотри на своего Александра, разве тебя не возмущает, когда на погребение Гефестиона, своего смазливого любимчика, он тратит сокровища целого народа? Добро бы еще убивать! Человеческое племя — неважное семя. Но сорить деньгами! Сразу видно, что эти уроды не сами их выращивали. И ты находишь это занятным? Ты таращишь глаза, ты торжествуешь, словно эти монеты ты роздал сам! Если бы ты их роздал, ты был бы дурак. И ты сугубый дурак, раз тебя радуют дурости, которые учинили другие, а не ты сам».

Я отвечаю: «Брюньон, золотые твои слова, ты прав всегда. А я все-таки дал бы себя высечь ради всех этих глупостей, и все-таки в этих тенях, бесплотных уже две тысячи лет, больше крови, чем в живых. Я их знаю, и я их люблю. Если бы Александр прослезился надо мной, как над Клитом, я бы с радостью дал ему убить и себя. У меня горло сжимается, когда я вижу, как Цезарь в сенате мечется среди кинжалов, словно зверь, затравленный псами и ловчими. Я стою, разинув рот, когда мимо плывет Клеопатра в своей золотой ладье, посреди нереид, прислонившихся к снастям, и красивых маленьких пажей, голых, как амуры; и я раздуваю свой длинный нос, вдыхая благовонный ветер. Я плачу, как теленок, когда под конец Антония, окровавленного, умирающего, связанного, поднимает на канате его красавица, свесившись из башенного окна, и тянет к себе изо всех сил (только бы... он такой тяжелый... только бы его не выпустила!) несчастного, который простирает к ней руки...»

Что же волнует меня, что же привязывает меня к ним, как к родным? А то, что они мне родные, они — я, они — Человек.

Как мне жаль обездоленных бедняг, которым незнакомо наслаждение книгами! Ведь есть такие, которые высокомерно гнушаются прошлым и довольствуются настоящим. Глупее глупых утят, дальше собственного носа видеть не хотят! Да, настоящее — это хорошо. Но все хорошо, черт возьми, я загребаю обеими руками и не морщусь перед накрытым столом. Вы бы на него не клепали, если бы отведали сами. Или же, друзья мои, у вас плохой желудок. Я понимаю, что то, что обнял, держишь в объятиях. Но вы и обнимать не умеете, и милая ваша тоща. Вкусно и мало, в этом вкусу мало. Я предпочитаю много и вкусно... Довольствоваться настоящим можно было, друзья мои, во времена старика Адама, который ходил нагишом, за неимением платья, и, никогда ничего не видав, только и мог любить свое ребро. Но мы, которые имели счастье явиться после него в полный дом, куда наши отцы, деды и прадеды свалили и нагромоздили все то, что они скопили, мы были бы глупы весьма, если бы сожгли свои закрома, под тем предлогом, что наша земля родит и сама!.. Старик Адам был дитя! Это я — старик Адам: потому что я тот же человек и за это время вырос. Мы одно с ним дерево, но только я выше. Всякий взмах топора, ранящий одну из ветвей, отдается в моей листве. Горе и радость мира — мои. Если кто страдает, — мне больно; если кто счастлив, — я смеюсь. И еще яснее, чем в жизни, я ощущаю в книгах это братство, которое нас связует, всех нас, и торбоносцев и венценосцев; ибо и от тех и от других ничего не остается, кроме пепла да пламени, которое, вобрав в себя лучшее, что есть в наших душах, возносится к небу, единое и многообразное, воспевая несчетными языками своих кровавых уст славу всемогущему...

Так я мечтаю у себя на чердаке. Ветер угасает. Меркнет свет. Снег шуршит крылом по окну. Крадется тень. В глазах у меня мутнеет. Я наклоняюсь к книге и слежу за рассказом, убегающим во тьме. Я вожу носом по бумаге: как собака на следу, я вбираю человеческий запах. Ночь надвигается. Надвинулась ночь. Моя дичь ускользает и мчится прочь. Тогда я останавливаюсь посреди леса и с сердцем, бьющимся от погони, прислушиваюсь к убегающему звуку. Чтобы лучше видеть впотьмах, я закрываю глаза. Я мечтаю, лежа на постели, не шевелясь. Я не сплю, я перебираю свои мысли; временами гляжу на небо, в окно. Когда я протягиваю руку, я касаюсь стекла; я вижу эбеновый купол, перечеркнутый кровавой каплей падучей звезды... Еще и еще... Огненный дождь озаряет ноябрьскую ночь... И мне вспоминается комета Цезаря. Быть может, это его кровь струится в небе...

Опять светло. Я все еще мечтаю. Воскресенье. Поют колокола. Моя фантазия опьянена их гулом. Она заполняет весь дом, от погреба до чердака. Она испещряет книгу (ах, бедный Пайар!) моими надписями. Моя комната оглашена грохотом колесниц, звоном труб, конским ржанием и шумом войск. Стекла дрожат, в ушах у меня звенит, сердце колотится, я сейчас крикну:

— Ave, Caesar, imperator! [1]

А мой зять Флоримон, зашедший меня проведать, смотрит в окошко, шумно зевает и говорит:

— Сегодня на улице хоть бы кошка!

---

[1] Привет тебе, Цезарь, император! (*лат.*)

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

КОРОЛЬ ПЬЕТ

Мартынов день (11 ноября)

Сегодня с утра во всем была какая-то удивительная нега. Она проносилась в воздухе, теплая, как ласка атласной кожи. Она ластилась к вам, как пушистая кошка. Она стекла по окну, как золотой мускат. Небо приподняло свое облачное веко и голубым, спокойным оком смотрело на меня; а на крыше у меня смеялся светло-русый солнечный луч.

Я чувствовал себя томным, старый дурак, и мечтательным, как юноша. (Я перестал стариться, я молодею; если так будет и дальше, я скоро превращусь в мальчишку.) Итак, сердце мое было полно химерических ожиданий, словно добрый Роже, глазеющий на Альсину. Я на все смотрел растроганным взглядом. Я в этот день не обидел бы мухи. Я истощил запас моих былых проказ.

И вот когда мне казалось, что я один, я вдруг увидел Мартину, сидевшую в углу. Я не заметил, как она вошла. Вопреки своему обыкновению, она ничего мне не сказала; она уселась с рукоделием в руках и на меня не глядела. Я чувствовал потребность поделиться с другими моим блаженным состоянием. И я сказал наобум (чтобы завязать разговор, все годится):

— Почему это сегодня звонили в большой колокол?

Она пожала плечами и ответила:

— Да ведь Мартынов день.

Я упал с облаков. В своих мечтаниях — мыслимое ли дело! — я забыл про божество моего города! Я сказал:

— Сегодня Мартынов день?

И перед моим взором тотчас возник, в толпе Плутарховых судариков и сударынь, среди моих новых друзей, старый друг (он им под стать), возник всадник, рассекающий мечом свой плащ.

— Ах, Мартынушка, мой старый куманек, как же это я забыл, что нынче твой денек!

— Ты этому удивляешься? — сказала Мартина.— Давно пора! Ты все на свете забыл, господа бога, семью, и бесов, и святых, Мартынушку и Мартину, для тебя ничего не существует, кроме твоих проклятых книжищ.

Я смеюсь: я давно приметил ее недобрый взгляд, когда она приходила по утрам и видела, что я сплю с Плутархом. Женщина никогда не любит книг бескорыстной любовью: она видит в них или соперниц, или любовников. Когда девица или женщина читает, она предается любви и обманывает мужчину. Поэтому, заставая нас за чтением, она вопит об измене.

— Это Мартын сам виноват,— говорю я,— он что-то не показывается больше. А ведь у него осталась половина плаща. Он ее бережет, это нехорошо. Что поделаешь, доченька? Нельзя давать забыть себя. Если дать себя забыть, тебя забудут. Запомни этот урок.

— Я в нем не нуждаюсь,— сказала она.— Где бы я ни была, все обо мне помнят.

— Это верно, тебя всегда видно, а еще больше слышно. Кроме сегодняшнего утра, когда я ждал обычной взбучки. Почему ты меня ее лишила? Мне ее недостает. Задай-ка мне ее.

Но она, не поворачивая головы, сказала:

— Тебя ничем не проймешь. И я молчу.

Я смотрел на ее упрямое лицо, на то, как она закусила губу, подрубая шитье. Вид у нее был грустный и подавленный; и моя победа была мне в тягость. Я сказал:

— Приходи хоть поцеловать меня. Если Мартына я и забыл, то Мартину нет. Сегодня твой праздник, и у меня припасен для тебя подарок. Приди за ним.

Она нахмурилась и сказала:

— Злой шутник!

— Я не шучу, — сказал я.— Подойди, подойди, вот увидишь.

— Мне некогда.

— О бесчеловечная дочь, как, тебе некогда подойти меня поцеловать?

Она нехотя встала; она недоверчиво подошла:

— Какую еще виллоновщину [1], какую выходку ты для меня припас?

Я протянул к ней руки.

— Ну, говорю,— поцелуй меня.

— А подарок? — говорит.

— Да вот он, вот он,— это я.

— Нечего сказать! Хорош подарок!

— Хорош или плох, все, что у меня есть, я тебе дарю, я сдаюсь, без всяких условий, на твою милость. Делай со мной, что хочешь.

— Ты согласен перебраться вниз?

— Я отдаю себя связанным по рукам и ногам.

— И ты согласен меня слушаться, согласен, чтобы

[1] В подлиннике: tour de Villon, то есть выходка во вкусе Виллона, поэта XV века, прославившегося своей беспутной жизнью и своими причудами.— *Прим. пер.*

тебя любили, наставляли, бранили, баловали, берегли, унижали?

— Я отрекся от собственной воли.

— Ну и отомщу же я! Ах ты, мой милый старичишка! Злой мальчишка! Какой ты хороший! Старый упрямец! И злил же ты меня!

Она целовала меня, трясла, как мешок, и прижимала к себе, как младенца.

Она не стала ждать ни минуты. Меня упаковали. И Флоримон с пекарями, украшенные белыми колпаками, упекли меня по узкой лестнице, пятками вперед, затылком вспять, вниз, в широкую кровать, в светлую комнату, где Мартина и Глоди меня опекали, распекали, допекали без конца:

— Теперь попался, попался, не уйдешь, бродяга!

И это великое благо!

И вот я в плену, я выкинул мою гордость на помойку; старый хрыч отныне подчинен Мартине... И в доме, незаметно, всем правлю я.

Теперь Мартина нередко устраивается возле меня. И мы беседуем. Мы вспоминаем, как однажды, уже давно, мы вот так же сидели друг возле дружки. Но только тогда за лапку была привязана она, потому что повредила себе ногу, прыгая ночью из окошка (влюбленная кошка!), чтобы бежать на свидание со своим любезным другом. Невзирая на увечье, я порядком ее взгрел. Теперь это ей смешно, и она говорит, что я еще мало ее отколотил. Но в ту пору, сколько я ни колотил и сколько ни стерег,— а ведь я человек хитрый,— она оказывалась в десять раз хитрее моего, мошенница, и выскользала у меня из рук. В конечном счете она была не так глупа, как мне казалось. Голову она не потеряла, не знаю, как остальное; а по-

терял ее, надо полагать, любезный друг, потому что теперь он ее супруг.

Мы с ней смеемся над этими проказами, и она, с тяжким вздохом, молвит, что кончен смех, что лавры срезаны и в лес мы больше не пойдем. И мы беседуем об ее муже. Как женщина разумная, она считает его честным малым, в общем пригодным, хоть и не удалым. Супружество создано не для забавы.

— Всякий это знает,— говорит она,— и ты лучше всех. Так уж оно есть. Приходится мириться. Искать любви в муже — черпать воду в луже. Я не дура, зря слез не трачу, о том, чего нет, я не плачу. Я довольствуюсь тем, что у меня есть; и то, что есть, хорошо и так. Жалеть не о чем... А все ж таки я теперь вижу, как мало похоже то, чего хочешь, на то, что можешь, то, о чем мечтаешь в юности, на то, чему бываешь рад, когда состаришься или готов состариться. И это трогательно, а может быть, и смешно: не знаю, что из двух. Все эти чаяния, все эти отчаяния, эти стремления, эти томления, эти желания и эти пылания,— чтобы потом подогревать на них кастрюлю и находить похлебку вкусной!.. И она вкусна, право же вкусна; как раз для нас; большего мы не заслуживаем. Если бы мне это когда-нибудь сказали!.. И потом, на худой конец, чтобы было вкуснее, у нас есть смех; а это изрядная приправа, с ней съешь и камень. Великая подмога,— мы с тобой хорошо это знаем,— уметь смеяться над самим собой, когда сглупил и видишь это.

Мы себе в этом и не отказываем,— а в том, чтобы посмеяться над другими, и подавно. Иной раз мы молчим, мечтаем, размышляем, я — уткнувшись в книгу, она — в шитье; но языки втихомолку продолжают свою работу, словно два ручейка, которые движутся

под землей и вдруг выбегают на солнце впрнпрыжку. Мартнна, посредн тншины, разражается хохотом; и пошли плясать языки!

Я пытался было ввестн в наше общество Плутарха. Мне хотелось приохотить Мартину к его чудесным рассказам и к моей патетической манере читать. Но мы не имели никакого успеха. Ей былн так же нужны Греция н Рим, как корове налим. Даже когда она, из вежливости, старалась слушать, через минуту она была уже далеко, и мысль ее витала неведомо где или, вернее, обходнла дозором, сверху донизу, дом. На самом животрепещущем месте, когда я мудро приберегал волнение н подготовлял, с дрожью в голосе, заключительный эффект, она вдруг перебивала меня и кричала что-нибудь Глоди нли Флоримону, на другом конце дома. Я был обижен. Я перестал. Нельзя требовать от женщин, чтобы они делили с нами наши мечтания. Женщина — наша половина. Да, но только которая? Верхняя? Или другая? Во всяком случае, общий у нас — не мозг; у каждого свой, своя копилка глупостей. Как два побега одного ствола, общаемся мы сердцем...

Общаюсь я отлнчно. Хоть я и старый черт, увечен, нищ, потерт, я все ж таки ухнтряюсь напоследок окружать себя чуть ли не каждый день лейб-гвардней хорошеньких соседок, которые, расположась вокруг моей постели, заводят веселые трели. Они приходят якобы за тем, чтобы сообщить какую-нибудь важную весть, нлн попроснть о какой-нибудь услуге, нли занять что-нибудь из утвари. Для них хорош любой предлог, о котором можно забыть, переступив порог. Оказавшись все в сборе, как на рынке, онн рассажнваются, Гильемнна с веселымн глазамн, Югета с хорошеньким но-

сиком, шустрая Жакотта, Маргерон, Ализон, и Жилетта, и Масетта, вокруг теляти на кровати; и шу-шу-шу, пошли щебетать, кумушки мои, кумушки, на губах у всех трескотня и смех, со всех сторон гудит трезвон! А большой колокол — это я. В котомке у меня всегда имеется какая-нибудь забористая повестушка, которая щекочет, где надо: любо смотреть, как они млеют! Их смех на улице слыхать. И Флоримон, задетый моим успехом, просит меня, подтрунивая, открыть ему мой секрет. Я отвечаю:

— Мой секрет? Я молод, старина.

— И потом, — говорит он обиженно,— твоя дурная слава. За старыми бабниками бабы всегда бегают.

— Еще бы,— говорю.— Разве не внушает почтения старый вояка? Всем хочется на него взглянуть, все думают: «Он вернулся из страны славы». А эти думают: «Кола побывал в походах, в стране любви. Он ее знает, и нас он знает... А потом, кто поручится? Быть может, он еще и повоюет».

— Старый проказник! — восклицает Мартина.— Как это вам нравится? Он еще вздумает влюбиться!

— А почему бы и нет? Ведь эта мысль! Раз уж на то пошло, то, чтобы вас позлить, я возьму да и женюсь.

— Что ж, женись, мой милый, тебе как раз к лицу красавица жена. На что же нам и молодость дана?

Николин день (6 декабря)

На Николин день меня подняли с постели и подкатили в кресле к окну, возле стола. Под ногами грелка. А спереди — деревянный пюпитр с дыркой для свечи.

В десять часов братство судовщиков, «плотильщики» и рабочие, «речные подручные», во главе со скрипками, прошло перед нашим домом, взявшись под руки и приплясывая вслед за своим знаменем. По дороге в церковь они обходили кабаки. Увидя меня, они приветствовали меня кликами. Я встал, поклонился моему святителю, который ответил мне тем же. Я пожимал, через окно, их почернелые лапы и лил, как в воронку, в их зияющие глотки по стаканчику водки (с таким же проком лей вино среди полей!).

В полдень ко мне явились с поздравлениями мои четыре сына. Как плохо не ладишь, раз в год приходится ладить; именины отца святы; это стержень, вокруг которого, всем роем, держится семья; справляя этот день, она сплачивается, она принуждает себя к этому. И я считаю это нужным.

Итак, в этот день мои четыре молодца встретились у меня. Радость эта для них была невеликая. Они друг друга недолюбливают, и, мне кажется, единственная связь между ними — это я. В наше время распадается все, что когда-то объединяло людей: дом, семья, вера; всякий считает, что прав он один, и всякий живет сам по себе. Я не намерен изображать старика, который возмущается и брюзжит, и считает, что с ним кончится мир. Мир-то сумеет выпутаться; и, по-моему, молодежь лучше стариков знает, что ей нужно. А только стариковское дело — дело трудное. Мир вокруг тебя меняется; и если ты сам не меняешься тоже, то места тебе нет! Но меня это не пугает. Я сижу себе в кресле. Мне в нем хорошо. И если для того, чтобы тебя не согнали, требуется переменить мысли, что же, я и переменю, я сумею переменить их так, что останусь (это само собой) прежним. А покамест я наблюдаю из моего кресла,

как мир меняется и молодежь спорит; я им дивлюсь и жду тихонько, потом минуту улучу и поведу их, куда хочу...

Мои молодцы расположились передо мной, вокруг стола; направо — Жан-Франсуа, церковник; налево — Антуан, гугенот, тот, что живет в Лионе. Оба сидели, не глядя друг на друга, сутулясь, не поворачивая головы и приросши к стулу. Жан-Франсуа, цветущий, толстощекий, с жестким взглядом и улыбкой на губах, говорил, не умолкая, о своих делах, хвастал, кичился своими деньгами, своими успехами, хвалил свои сукна и господа бога, помогающего ему их сбывать. Антуан, с бритыми губами и острой бородкой, хмурый, прямой и холодный, говорил словно сам с собой, о своей книжной торговле, о своих путешествиях в Женеву, о своих деловых и вероисповедных связях и тоже хвалил бога; но уже другого. Говорили они по очереди, не слушая, что поет другой, и продолжая каждый тянуть свое. Но под конец и тот и другой, задетые за живое, повели речь о таких вещах, которые могли собеседника вывести из себя, один — о процветании истинной веры, другой — о преуспеянии веры истинной. При этом они по-прежнему не обращали друг на друга внимания; и, не шевелясь, словно у них свело шеи, со свирепым видом, резким голосом, кудахтали о своем презрении к богу противника.

Посредине их стоял и смотрел на них, пожимая плечом и прыская со смеху, мой сын Эмон-Мишель, головорез, сержант Сасерморского полка (это малый неплохой). Ему не стоялось на месте, он вертелся, как волк в клетке, барабанил по окну или напевал: «ну-ну, ну-ну», останавливался, глядя на обоих старших, занятых спором, хохотал им в лицо или резко обрывал их,

заявляя, что два барана, мечены они или не мечены красным или синим крестом, если только они жирны, всегда годны и что это им еще покажут... «Мы едали и не таких!»

Анис, мой младший сын, взирал на них с ужасом. Анис, удачно прозванный, который пороха не выдумает. Споры его тревожат. Ко всему на свете он равнодушен. Он счастлив, когда может мирно зевать и скучать весь день-деньской. Он считает дьявольским наваждением всякую политику и религию, которые придуманы для того, чтобы смущать сладкий сон разумных людей или разум людей сонных... «Худо или хорошо то, что у меня есть, раз оно у меня есть, к чему менять? Постель, которую мы облежали, облежали мы, облежали для себя. Мне новых простынь не надо...» Но его не спрашивали и перетряхивали его тюфяк. И, чтобы обеспечить себе покой, этот кроткий человек, в своем негодовании, рад был бы выдать всех смутьянов палачу. Сейчас он с растерянным видом слушал чужие речи; и как только они становились громче, втягивал голову в плечи.

Я, превратившись в слух и зрение, забавлялся тем, что старался разобрать, в чем эти четверо — мои, что у них моего. Как-никак, это мои сыновья; в этом я ручаюсь. А если они произошли от меня, то, стало быть, они из меня вышли; но каким же, черт, путем они в меня вошли? Я ощупываю себя: как же это я выносил в своей утробе этого проповедника, этого пустосвята и этого бешеного ягненка? (Авантюрист — еще куда ни шло...) О коварная природа! Так они пребывали во мне? Да, я таил в себе их семена; я узнаю некоторые жесты, некоторые обороты речи и даже мысли; я узнаю себя в них под маской; но под нею — тот же чело-

век. Тот же, единый и многообразный. В каждом из нас сидят двадцать разных людей: и хохотун, и плакса, и такой, как пень, которому все равно, что ночь, что день, и волк, и овца, и собака, и потихоня, и забияка; но один из двадцати сильнее всех и, присваивая себе одному право говорить, остальным девятнадцати затыкает рты. Поэтому они стараются удрать, как только видят, что дверь открыта. Мои четыре сына так и удрали. Бедняги! Mea Culpa. Такие далекие, они мне так близки!.. Что ни говори, они все-таки мои детеныши. Когда они говорят глупости, мне хочется попросить у них прощения, за то, что я создал их глупыми. Хорошо еще, что сами они довольны и считают себя красавцами!.. Что они собой любуются, этому я очень рад, но чего я не выношу, так это того, что они не терпят, чтобы у ближнего было рыло, хотя ему оно и мило.

Нахохлившись, грозя глазами и клювом, все четверо имели вид сердитых петухов, готовых кинуться друг на друга. Я спокойно созерцал, затем сказал:

— Браво! Браво, мои овечки, я вижу, вы бы не дали себя остричь. Кровь хороша (еще бы, ведь это моя!), а голос и того лучше. Вас мы послушали, теперь мой черед! У меня чешется язык. А вы передохните.

Но они не очень-то спешили повиноваться. Чье-то слово пробудило грозу. Жан-Франсуа, вскочив, схватил стул. Эмон-Мишель обнажил свою длинную шпагу, Антуан — свой нож; а Анис (глотка у него, чтобы мычать, телячья) вопил: «Пожар! Тонем!» Я видел, вот-вот эти звери перережутся. Я схватил первый подвернувшийся под руку предмет (это как раз оказался кувшин с голубками, предмет моего отчаяния и Флоримоновой гордости) и, сам того не желая, вдребезги разбил его о стол. А Мартина, прибежав, размахивала

дымящимся котлом и грозилась окатить их. Они голосили, как стадо ослят; но когда кричу я, то нет длинноухого, который не спустил бы флага. Я сказал:

— Здесь я хозяин, и я приказываю. Замолчите. Что это вы, с ума сошли? Или мы собрались, чтобы препираться о никейском символе веры? Я препирательства люблю; но сделайте милость, друзья мои, изберите предмет поновее. От этих я устал, они мне невмоготу. Спорьте, черт возьми, если это вам прописано для здоровья, об этом бургундском или об этой колбасе, о чем-нибудь таком, что можно видеть, выпить, тронуть, съесть: мы поедим, попьем, чтобы проверить. Но спорить о боге — боже правый! — о святом духе, это значит показывать, друзья мои, что дух у вас помутился!.. Я ничего не говорю плохого про тех, кто верит: я верю, мы верим, вы верите... чему вам угодно. Но поговорим о чем-нибудь другом: неужели ничего такого не найдется на свете? Всякий из вас уверен, что создан для райских врат. Что ж, и отлично, я очень рад. Вас там ждут, каждому избраннику уготовано место, остальные пожалуйте обратно: само собой понятно... Да предоставьте вы господу богу самому размещать своих постояльцев; это его обязанность, и вы в его распоряжения не вмешивайтесь. Всякому свое царство. Богу — небо, нам — земля. Наше дело устроить ее, если возможно, поуютнее. Для такой работы никто не лишний. Или, по-вашему, можно обойтись и без вас? Вы все четверо полезны стране. Ей так же нужна твоя вера, Жан-Франсуа, в то, что было, как твоя, Антуан, в то, чему следовало быть, так же нужна непоседливость, Эмон-Мишель, как и твоя, Анис, неподвижность. Вы — четыре столпа. Стоит податься одному, и рухнет дом. Вы бы остались торчать бесполезной развалиной. Или вы это-

го добиваетесь? Недурно, нечего сказать! Что бы вы сказали про четырех моряков, которые в волнах, в непогоду, вместо того чтобы управлять кораблем, помышляли бы только о спорах?.. Мне вспоминается разговор, который мне некогда передавали, короля Генриха с герцогом Неверским. Они жаловались на своих французов, что у тех страсть истреблять друг друга. Король говорил: «Ventresaintris![1] Мне бы хотелось, чтобы их успокоить, взять этих бешеных монахов и неистовых евангельских проповедников, зашить в мешки, по паре, и утопить в Луаре, как помет котят». Анивер говорил, смеясь: «Что до меня, я бы удовольствовался тем, что отправил бы эти мешки на те островки, куда, как говорят, господа бернцы высаживают сварливых мужей и жен, которых месяц спустя, когда за ними возвращается лодка, находят воркующими нежно и кротко, как голубки». Вам бы тоже не мешало прописать такое лечение. Вы огрызаетесь, уродцы вы этакие? Поворачивайтесь друг к другу спиной?.. Полно, посмотрите лучше на себя, дети! Напрасно вы воображаете, что сделаны каждый из особого теста и много лучше, чем ваши братья; вы четыре помола ejusdem farinae[2], Брюньонова семени, бургундского племени. Посмотрите на этот нахальный носище, который расположился поперек лица, на этот рот, широко высеченный в коре, воронку, чтобы лить пойло, на эти кустами заросшие глаза, которые хотели бы казаться злыми и смеются! Да ведь все вы меченые! Разве вы не видите, что, вредя друг другу, вы сами себя разрушаете? И разве не лучше бы было, если бы вы протянули друг другу руку? Вы мыслите по-разному?

[1] «Черт возьми!» (*лат.*).
[2] Той же муки (*лат.*).

Ну так что же? Тем лучше! Или всем вам хотелось бы возделывать одно и то же поле? Чем больше у семьи будет полей и мыслей, тем мы будем счастливее и сильнее. Распространяйтесь, размножайтесь, охватывайте как можно больше земли и мысли. Каждый свою и все заодно (ну, сыны мои, обнимемся!), чтобы длинный брюньоновский нос расстилал пополам свою тень и вдыхал восхитительный земной день!

Они молчали, с хмурыми лицами, поджав губы; но видно было, что они с трудом удерживаются от смеха. И вдруг Эмон-Мишель, разразившись громким хохотом, протянул руку Жану-Франсуа, говоря: «Ну, старший нос, решен вопрос. Выводок ос, помиримся!» Они поцеловались.

— Эй, Мартина! За наше здоровье!

Тут я заметил, что, когда рассердясь, я стукнул кувшином, я порезал себе руку. На столе была кровь. Антуан, торжественный, как всегда, приподнял мою руку, подставил под нее стакан, собрал в него алый сок из моей жилы и высокопарно заявил:

— Чтобы скрепить наш союз, выпьем все четверо из этого стакана!

— Что ты, что ты, — говорю, — Антуан, портить господне вино! Фу, противно даже! Выплесни эту микстуру. Кто хочет пить мою кровь без примеси, пусть выпьет досуха и без примеси свое вино!

Затем мы пили, и гуторили, и о вкусе вина не спорили. Когда они ушли, Мартина, перевязывая мне руку, сказала:

— Старый злодей, ты, наконец, достиг своей цели, на этот раз?

— О какой это цели ты говоришь? Помирить их?

— Я говорю о другом.

— О чем же тогда?

Она указала на разбитый кувшин.

— Ты меня прекрасно понимаешь. Не изображай невинность... Сознайся... Все равно сознаешься... Ну, скажи мне на ухо! Он не узнает.

Я разыгрывал удивление, негодование, непонимание, отрицал; но я давился смехом... пфф... и подавился.

Она повторила мне:

— Злодей! Злодей!

Я сказал:

— Слишком уж он был безобразен. Знаешь, дочка: один из нас, он или я, должен был исчезнуть.

Мартина сказала:

— Тот, что остался, ничуть не красивее.

— Ну, эта птица может быть безобразна, сколько ей угодно! Мне все равно. Я ее не вижу.

Рождественский сочельник

На смазанных петлях вращается год. Дверь затворяется и отворяется вновь. Как складываемая ткань, падают дни в бархатистый сундук ночей. Они входят с одной стороны, выходят с другой и, со дня святой Люции уже не такие куцые, вырастают на блошиный скок. На меня уже посматривает в щелочку Новый год.

Сидя под навесом большого камина в рождественскую ночь, я вижу, словно со дна колодца, звездное небо над собой, его ресницы мигающие, его сердечки замирающие; и я слышу, как налетают колокола и в ровном воздухе машут, машут, звоня к полуночной обедне. Я рад, что он родился, младенец, в этот ночной час, в этот самый темный час, когда мир словно кончается. Его голосок поет: «О день, ты возвратишь-

ся! Уже ты наступаешь. Ты близок, Новый год!» И надежда своими теплыми крыльями накрывает ледяную зимнюю ночь и делает ее нежной.

Во всем доме я один, дети мои в церкви; это первый раз, что я не пошел туда. Я остался дома с моим псом Ситроном и серым котенком Патапоном. Мы с ними мечтаем и глядим, как огонь лижет камин. Я вспоминаю сегодняшний вечер. Только что вокруг меня сидел весь мой выводок; я рассказывал Глоди, таращившей глазки, старые сказки, и про фей, и про Утенка, и про Ощипанного цыпленка, и про мальчика, как он стал богачом, продав петуха возчикам, которые ехали на тележках грузить день. Нам было очень весело. Остальные слушали и смеялись, и каждый что-нибудь добавлял. Временами все смолкали и слушали, как кипит вода, как потрескивают дрова, как белые хлопья бьют в стекло, как точит сверчок свое дупло. Ах, славные зимние ночи, тишина, тепло сгрудившегося стадца, мечтания поздних часов, когда дух блуждает то здесь, то там, но знает это сам, и если путает вехи, то только для потехи...

И вот я подвожу счет за целый год и вижу, что за полгода я лишился всего: жены, дома, денег и ног. Но что всего забавнее, так это то, что в конечном итоге я оказываюсь так же богат, как и раньше! Вы говорите, у меня ничего больше нет? Да, нести мне нечего. Что ж, я разгрузился! И никогда еще я не чувствовал себя таким свежим, таким свободным, никогда мне так легко не плавалось по волнам моей фантазии... А если бы мне сказали в прошлом году, что я так весело встречу беду! Не я ли клялся и божился, что желаю до конца своих дней оставаться хозяином у себя, хозяином самого себя, независимым, не быть в долгу ни

перед кем за то, что выпью или съем, и никому не давать отчета в том, что я выкинул то-то и то-то! Человек предполагает... А посмотришь — все идет совсем не так, как того он ждет; и это наилучший оборот. И потом, в сущности, человек — славное животное. Все ему впору. Он одинаково хорошо сживается и с радостью, и с горем, и с обжорством, и с голодом. Дайте ему четыре ноги или отнимите обе, сделайте его глухим, слепым, немым, он ухитрится приспособиться и каким-то образом, про себя, видеть, слышать и говорить. Он словно воск, который можно растягивать и сжимать; душа плавит его на своем огне. И радостно ощущать, что обладаешь этой гибкостью духа и мышц, что можешь, если надо, быть рыбой в воде, птицей в воздухе, в огне саламандрой, а на земле человеком, который весело борется с четырьмя стихиями. Поэтому-то чем большего ты лишен, тем ты богаче: ибо дух создает, чего ему недостает; густое дерево, если обрезать лишние ветви, только выше растет. Чем меньше у меня, тем сам я больше...

Полночь. Бьют часы...

> Родилось дивиое дитя...

Я пою рождественскую песнь...

> Играй, свирель, звеии, волыика,
> Как ои прекрасеи, как ои мил...

Меня клонит дремота, я засыпаю, плотнее усевшись, чтобы не свалиться в огонь...

> Родился...
> Играй, свирель, звеии, веселая волыика.
> Мессия малеиький рождеи.

Чем кто бедней, тем больше он...

А ведь я ловкач! Чем я бедней, тем больше у меня добра. И я это отлично знаю. Я нашел способ быть богатым, ничего не имея, чужим добром. У меня есть власть и никаких обязанностей. Что это рассказывают про стариков отцов, будто, все раздав, все раздарив неблагодарным детям, рубашку и штаны, они оказываются покинутыми, заброшенными и только и видят, как все глазами толкают их в могилу? Это попросту фефелы. Никогда, ей-же-ей, меня так не любили, так не баловали, как в моей бедности. Это потому, что я не такой дурак, чтобы все раздать, ничего себе не оставив. Разве дарится только кошелек? Я, все раздарив, сохраняю лучшее, сохраняю мою веселость, всю ту жизнерадостность и лукавство, всю ту беспутную мудрость и мудрое беспутство, что я скопил за полвека скитаний вдоль и поперек жизни. А запас еще далеко не иссяк. И он открыт для всех; пусть все из него черпают! Разве это ничего не стоит? Если я беру у своих детей, то и им я даю; и мы в расчете. А если случается, что один дает немного меньше, чем другой, то любовь восполняет, что нужно; и всегда все обходится дружно.

Кто желает посмотреть на короля без королевства, на Ионна Безземельного, на счастливчика, кто желает посмотреть на Брюньона Галльского, пусть полюбуется, как я сегодня восседаю на троне, возглавляя шумный пир! Сегодня крещение. Днем по нашей улице прошли цари-волхвы и их свита, все как надо, белое стадо, шесть пастушков и шесть пастушек, которые пели во весь рот; а собаки лаяли из-под ворот. И вот вечером мы сидим за столом, все мои дети и дети моих детей. Это будет тридцать чело-

век, все родня, считая меня. И все тридцать кричат разом:

— Король пьет!

Король — это я. На голове у меня корона, пирожная форма. А королева моя — Мартина; как в священном писании, я взял в жены собственную дочь. Всякий раз, когда я подношу к губам стакан, меня приветствуют, я смеюсь, давлюсь; но, хоть и давясь, глотаю все до капли. Моя королева тоже пьет и, раскрыв грудь поит из красного соска своего красного сосунка, последнего из моих внучат, который орет, сосет, слюнит и кажет голый зад. Пес под столом тявкает и лакает из плошки, вместо кошки. А кошка, мурлыча, спина колесом, удирает с костью, забытою псом.

И я думаю (вслух: я не люблю думать молча):

— Жизнь хороша! Друзья мои! Одно лишь худо: коротка. Ах, как хотелось бы побольше! Вы скажете: «Чего ворчать! Твоя ли доля была плоха!» Конечно, так. Но лучше две. И почем знать? Быть может, если я попрошу под шумок, мне и дадут еще кусок... Но грустно то, что я-то тут, а где хорошие ребята, которых я знавал когда-то? Господи, как мимолетно время, и люди тоже! Где король Генрих и добрый герцог Людовик?..

И я пускаюсь по дорогам былых времен, сбирать увядшие цветы воспоминаний; и я рассказываю, я рассказываю, не уставая и повторяясь. Дети мне не мешают; и если я не могу подыскать слова или путаюсь, они мне подсказывают конец повести; и я пробуждаюсь от грез под их лукавыми взглядами.

— Что дед? — говорят они мне.— Хорошо было жить в двадцать лет. У женщин, в те времена, грудь была красивей и полней; а у мужчин сердце было там, где нужно, и прочее также. Надо было видеть короля

Генриха и его приятеля, герцога Людовика! Теперь из такого дерева людей уж не выделывают...

Я отвечаю:

— Вам смешно, озорникам? Это хорошо, посмеяться полезно. Что вы думаете, я не такой дурак, чтобы считать, что у нас неурожай на виноград и на дюжих людей, чтобы его собрать. Я знаю отлично, что на смену одному ушедшему приходят трое и что лес, из которого вытесывают галльских молодчиков, растет все такой же частый, прямой и пышный. Но выделывают из него уже не прежних. Тысячи и тысячи локтей наруби, никогда, никогда не получишь Генриха, моего короля, или моего Людовика. А их-то я и любил... Полно, полно Кола, нечего размякать! Слезы на глазах? Ты что, старый дурак, вздумал жалеть, что не можешь до конца своих дней пережевывать все тот же кус? Вино, говоришь, не прежнее? Оно от этого не хуже. Выпьем! Да здравствует король, он пьет! Да здравствует его питушечный народ!

И потом, говоря по душам, дети мои, признаюсь вам: хороший король, конечно, хорош, но лучший король — я сам. Так будем же свободны, французский народ благородный, а наших господ пусть черт заберет! Моя земля да я друг с другом дружны, друг другу нужны. А на что мне царь небесный или земной? Мне не надобно трона ни здесь, ни там. Всякому свое место под солнцем, всякому своя тень! Всякому свой клок земли да руки, чтобы его копать! Ничего другого мы не требуем! И если бы ко мне пришел король, я бы ему сказал:

«Ты мой гость. За твое здоровье! Садись сюда. Своячок, все короли одинаковы. Всякий француз родился королем. Здесь я хозяин, и здесь мой дом».

«Как,— сказал брат Жан,— вы тоже рифмуете? Видит бог, я зарифмую, как и все прочие, я это чувствую; подождите, и прошу меня извинить, если рифмовать я буду не красно...»

Пантагрюэль, V, 46.

ПРИМЕЧАНИЯ БРЮНЬОНОВА ВНУКА [1]

Я задумал эту галльскую поэму в апреле—мае 1913 года. Называлась она тогда «Король пьет», или «Жив курилка». Могу сказать, что я был ею прямо-таки одержим; и мое обращение «К читателю» в мае 1914 года не просто шутка: дед Кола говорил, я сам себе не принадлежал.

Я поселился среди полей, совсем один, возле виноградника. Черные лозы распускались, цвела сирень. Дух мой тоже. Я был весь напоен жизнью земли и всего живого. Во мне били ключи, подобные тем мутным и буйным водам, свежим, тяжелым от перегноя, которые бурлили вокруг меня в лугах. Я смеялся, когда писал. День проносился слишком быстро. Каждое утро я встречал, как Кола, под птичьим деревом; я был в неистовстве от песен раскрывающейся жизни.

[1] «Примечания Брюньонова внука» были написаны Роменом Ролланом для собрания его сочинений на русском языке (изд. «Время», Л., 1932).

Но я поплатился, за все приходится платить,— и это справедливо: я не торгуюсь из-за своих долгов. Недели, месяцы почти сплошной бессонницы. Остановка на полпути, на «Старухиной смерти». Затем вдруг болезнь подалась, запруды распахнулись. В разгаре лета книга была закончена.

Затем, в начале 1914 года, я обратился с предложением напечатать «Кола» к «Ревю де Пари», которая была отчасти и моим домом, будучи домом моих друзей Гандеракса и Лависса; этот последний выступал как главный мой поборник во Французской академии, когда разыгрывались бои из-за литературной премии, которая была затем присуждена «Жан-Кристофу», как раз в те весенние месяцы 1913 года, когда я был занят «Кола». Но, к моему изумлению, мой старый учитель оказался весьма смущен вольностью этого произведения. Он не решался представить непочтительного Кола своей чопорной аудитории. Особенно пугали этого вольнодумца эпизоды с кюре. Я словно с облаков свалился. В наших краях кюре не скромничали; они смело говорили, не запинаясь, на том пахучем языке, на котором мои деды Кола и Пайар вели беседы, со своим Шамайем. Когда мой прадед, брэвский нотариус, отправился однажды в небольшое путешествие по Франции, чтобы проверить в Тулузе одно слово в «Центуриях» Нострадамуса (я когда-нибудь поведаю эту комическую эпопею), то этот старый якобинец, бравший некогда Бастилию и получивший от Фуше, в Кламси, титул «Апостола Свободы», этот поноглот усадил с собой в повозку своего кюре, не для того, чтобы его съесть, а для того, чтобы есть вместе с ним, и смеяться, и спорить. Они не могли обойтись друг без друга за столом и без того, чтобы

не сцепиться. Для меия было весьма поучительиой новостью, что «порядочиая» парижская публика и свободиые мыслители из уииверситета в 1914 году куда усердиее требуют уважительиого отиошеиия к творцу, в которого оии ие верят. Ясио было, что приближаются большими шагами времеиа великой Западной Реакции.

Наступила войиа, которая ие могла ие иаступить. Еще за иесколько лет до того «Жан-Кристоф» ее предсказывал. В Швейцарии, где я жил в июле 1914 года и где я и остался, чтобы иметь (или присвоить себе) право говорить, я правил корректуры «Кола» почти одиовремеиио с корректурами «Над схваткой» (первые месяцы 1915 года). Мой дорогой издатель и друг Эмбло, заведующий издательством Оллеидорф, спешил с печатаиием, хоть и ие собирался выпускать эту киигу до окоичаиия войиы. Ои был влюблен в «Кола» и так же гордился им, как если бы его родил. Я подозреваю, что этот милый человек потому так торопил меня с чтением корректур, что был ие очеиь-то увереи, что иазавтра я буду жив... Увы, ои ушел первым,— хоть я и успел, вериувшись в 1919 году в Париж, еще повидаться с иим. И здесь мие хочется еще раз высказать всю мою благодариость искреииему другу, который остался мие вереи, когда столько других, в ком я не сомиевался, благоразумио от меия бежали во все лопатки. Без твердой и терпеливой поддержки Эмбло, я ие зиаю, удалось ли бы мие быть услышаииым в Париже. На это и рассчитывали мои мужествеииые враги!

И когда Горький пишет, что «Кола Брюньои», который ему иравится больше всех моих кииг, есть галльский вызов войие, то ои ие так уж ошибается.

Потому что хотя этот смех и раздался раньше битвы, но он звучал над нею и наперекор всему... «Je maintiendrai...» [1] «Жив курилка...»

Что касается строения книги, то его легко увидеть и без очков. Оно следует ритму Календаря природы, по которому я жил среди полей, промеж двух белых январей. Книга эта питалась кламсийскими летописями, неверскими преданиями, французским фольклором и сборниками галльских пословиц, которые суть мое евангелие и мое «Поэтическое искусство» [2]. Я утверждаю и посейчас, что в любом их мизинце больше мудрости, остроумия и фантазии, чем во всем Аруэ, Монтене и Лафонтене. (А я их люблю, этих трех братьев!)

Надо ли добавлять, что, когда я был ребенком, в клетке моей не умолкал старый голос, насмешливый и веселый, Тетки-Утки,— старой Розали из Бевронского предместья,— которая часто мне рассказывала, как Кола своей Глоди, сказку про Утенка и про Ощипанного цыпленка [3]. Ее крутой язык, голый, без фигового листка, с бургундской солью, не многим отличался, в своем свежем архаизме, от языка моего Кола. И я отчасти в ее честь избрал для моей повести как раз рубеж двух столетий, шестнадцатого и семна-

---

[1] «Не уступлю» — девиз Нидерландов.

[2] Превосходиое филологическое исследование о языке «Кола» с привлечеиием богатых материалов, представлениое для соискаиия докторской степеии Марбургскому уииверситету, иапечатаио Жоржеттой Шюлер в «Romanische Forschungen», 1927, Erlangen, под заглавием: «Studien zu Romain Rollands Cola Breugnon» (127 страииц).— *Прим. авт.*

[3] См. с. 256.— *Прим. авт.*

дцатого[1], где новизна и старина делят ложе; ибо от этого сладостного брака родилась речь, крепкая, задорная речь моей старой рассказчицы.

Имя Brugnon (Breugnon),— а это, как всем известно, название мясистого и крепкого плода, помеси персика и абрикоса,— до сих пор живо в окрестностях Кламси, и я совсем случайно чуть было не купил домишко одного из внуков Кола. Обстановку моей повести нетрудно узнать еще и сегодня. Все эти леса, эти реки, эти селения — друзья моего детства. И хотя мой зеленый канал, окаймлявший старые городские стены и стены моего отчего дома, теперь осушен,— хотя славная горушка Самбер, пузатая и лысая, оперилась еловым париком,— хотя, увы, длинные шеи заводов размазывают свои дымные слюни по моему серо-голубому небу,— город и край не изменились. И если бы их увидел вновь золотой Катон, деливший одр болезни с зачумленным Кола[2], он, наверное, пролил бы слезу по истребленным виноградникам, но быстро утопил бы ее в пылком вине, обретенном снова на дне погребов, в обществе добрых собутыльников!

О славный град Кламси, чье имя всем известно,
Ты около реки расположéн прелестно.
Здесь — вина добрые, там — злаки нивы мирной,
Окрестные сады ценней страны обширной[3].

Март, 1930.

---

[1] Точное время указано самим Кола вначале и в рассказе о «Чуме» (с. 11 и 135); он родился в 1566 году, и ему «полвека стукнуло». Действие происходит в 1616 году, под презренным ярмом Кончини, который будет убит год спустя. Кола представляет поколение короля Генриха, который старше его на двенадцать лет.— *Прим. авт.*

[2] См. 138.— *Прим. авт.*

[3] П. Гроне, «Золотые слова Катона».— *Прим. авт.*

«КОЛА БРЮНЬОН»

О создании «Кола Брюньона» Роллан подробно рассказал русскому читателю при публикации романа в первом советском издании его собраний сочинений. Эта «Галльская поэма» была задумана в апреле — мае 1913 года. Начальное ее название — «Король пьет», или «Жив курилка». Писатель работал над романом «как одержимый», и книга продвигалась с потрясающей быстротой. «Недели, месяцы почти сплошной бессонницы» позволили завершить произведение к середине лета 1914 года. Первая мировая война помешала публикации романа, и читатель познакомился с ним лишь в 1919 году.

Действие романа происходит в 1616 году, в переломный момент французской истории, когда анархия феодальной раздробленности до конца не обуздана центральной властью — абсолютизмом, когда не утихло еще эхо религиозных войн.

Роллан хорошо знал эпоху, в которой жил и действовал его герой. В своих «Воспоминаниях» он поведал нам, что, еще будучи студентом, «собирался написать психологическую историю Франции второй половины шестнадцатого века — времени Лиги и религиозных войн».

В романе точно воспроизводятся исторические события, служащие фоном для повествования о жизни мастера из Кламси.

Верный теме «героического характера», которая воплотилась в таких его произведениях, как «Жан-Кристоф», «Трагедии веры»,

в цикле «Героическне жизии» н пьесах «Драмы революции», Роллаи и иа этот раз ставит в центре своего повествоваиия иезаурядиую личность — человека из иарода, потеициальио великого художиика, который воплощает в себе едииство труда и искусства. Но в отличие от других носителей героического иачала, Кола Брюиьоиу иесвойствеииы одииочество, трагический разрыв с обществом. Он крепко связаи с родиым краем, с землей, где растут его виноградиики, с простым людом Кламси.

Роллаи не ндеализирует прошлое. Оио предстает перед иами как цепь непрерывиых иародиых бедствий. Кроме феодальиого разбоя, чумы, мятежей, на горожан обрушивается миогослойный гиет феодальиого общества: произвол самодуров-дворяи, нх чииовииков, разорительиые постои, подати. Однако, мыслеиио сравиивая эпоху Кола Брюньоиа с действительиостью буржуазиой Фраиции, Роллаи иаходит в далеком прошлом привлекательные черты, утраченные поздиее: близость человека к природе, облагораживающее действие физического труда, тесиую связь ремесел и искусств, терпимость во взглядах, осозиаиие горожаиамн своего едииства в глухой борьбе с феодальиой властью, солидариость простых людей во время стихийиых бедствий, духовиое здоровье н жнзиерадостиость, помогающие человеку смело смотреть в лицо иевзгодам н радоваться плодам жнзии. Образованиая часть горожаи ие отделнлась еще от простого люда, ие противопоставила себя ему. Правда, Роллан ие скрывает, что в иедрах этого примитивного, ио в массе своей здорового сообщества иачалось брожеиие. Эгоизм, личный иитерес подтачивают вековые устои, разобщают людей. Кола Брюиьои улавливает этн иовые веяиия н с огорчеиием говорит своим сыиовьям: «В наше время распадается все, что когда-то объедиияло людей: дом, семья, вера; всякий считает, что прав он одии и всякий живет сам по себе».

Кола возмущает пассивиость горожан во время спровоцироваииого мятежа, стремление каждого поскорее «вобрать тело в

ракушку», замкнуться в своем маленьком мирке. Но Кола удается расшевелить растерявшихся горожан, поднять их против грабителей и старшины Ракена, объединить их в споре о «графском луге».

В образе Кола Брюньона собраны наиболее характерные черты человека той эпохи. Чтобы полнее раскрыть характер своего героя, Роллан заставляет его действовать в самых различных обстоятельствах. Мы видим Кола в его отношении к самому себе, к семье, горожанам, феодалам, труду, искусству, религии. Мы видим его в дни мира и в дни войны, во время чумы, во время дружеских пирушек, дома, в кабаке, в замке, за верстаком и среди виноградников, Кола размышляющего, Кола мечтающего, Кола читающего.

Главное, что определяет характер Кола,— это его отношение к труду вообще и к своему ремеслу — искусству в частности «Труд — это борьба, борьба — это удовольствие». А «удовольствие», в понимании Кола,— это жажда жизни, любви к жизни.

Перечислив все, чем он обладает, герой Роллана называет «свое ремесло» лучшим из того, что он «припас на закуску». Труд — это «старый товарищ, который не предаст». Радостным гимном, неподдельной поэзией звучат слова Кола о труде: «Как хорошо стоять с инструментом в руках у верстака, пилить, строгать, сверлить, тесать, колоть, долбить, скоблить, дробить»; чтобы разбудить в неподатливом дереве скрытую, дремлющую форму, «разбудить спящую красавицу». Труд — это потребность, «без него не проживешь», но вместе с тем и радость, ибо труд рождает красоту, искусство, то лучшее, что оставляет после себя человек. Искусство, говорит Кола,— это «нечто родное, гений очага, друг, товарищ».

Кола с любовью думает о своих творениях. В каждом из них частица его души. Он называет их своими детьми. Но они разбрелись по свету, поселились в домах и замках знатных дворян, которые далеки от настоящего понимания искусства. У Кола

разрывается сердце, когда он видит свои творения искромсанными, искалеченными богатым бездельником. Он смеется над графом Майбуа, дилетантом, провозглашающим, что «прекрасно только бесполезное».

Кола Брюньон крепко стоит на земле, просто смотрит на жизнь, легко относится к смерти, потому что она так же естественна, как жизнь. Его суждения, проверенные здравым смыслом, выковываются в афоризмы, подкрепляются крылатыми народными пословицами.

В вопросах религии и в отношении к власти Кола вольнодумец. Бог для него одна из ступенек феодальной лестницы, так же как и король. Они очень высоко и очень далеко, их никто не видит и не знает, зато управителей, исполнителей их воли все «знают слишком хорошо». О них Кола говорит с нескрываемой ненавистью: «Эти хари — стократы, эти политики, эти феодалы, нашей Франции объедалы», «воспевая ей хвалу, грабят ее на каждом углу», «правители — народные грабители».

Кола с пренебрежением относится к политическим дрязгам феодальных верхов. У народа есть забота и дела поважнее. Он-то и является подлинным хозяином французской земли — он вскапывает ее, делает ее плодородной, сеет, выращивает овес, пшеницу, виноград, делает вино и хлеб, обтесывает камни, кроит сукно, сшивает кожу... Делая свое дело, народ готов терпеть, но до поры, до времени... «Терпи, терпи, наковальня. Терпи, пока ты наковальня. Бей, когда будешь молотом».

Кола только предупреждает, он не думает изменять порядки, скорее он стремится приспособиться к ним. Среди многочисленных его афоризмов мы найдем и такой: «Со злыми лучше жить в ладу, чем с ними заводить вражду». Но вопреки своей житейской философии умеренности и осторожности Кола часто преображается, с юным задором начинает действовать, подвергать себя риску, употреблять силу, не жалеть врагов и вести за собой более слабых.

Создавая «Кола Брюньона», Роллан возвращается порою к темам и мыслям, волновавшим его в пору создания «Жан-Кристофа». Для их выражения он находит иную форму, облекает их в иные одежды, но их легко обнаружить: Кола волнует проблема войны, роль государства и послушной толпы в ее возникновении. Кола спрашивает кюре Шамая: как примирить две морали — мораль отдельного человека, который желает мира для себя и других, и мораль «человеческих стад», государств, которые из войны и преступления делают доблесть? Протест против междоусобиц, войны, разобщенности людей, их нетерпимости друг к другу выражен и в аллегорической сцене спора четырех братьев — сыновей Кола, как бы представляющих всю Францию, все человечество. Останавливая спорящих, Кола восклицает: «Все четыре столпа. Стоит податься одному, и рухнет дом... Разве вы не видите, что, вредя друг другу, вы сами себя разрушаете?»

Роман создавался в канун первой мировой войны, и писатель-гуманист уже в эту пору возвышал свой голос против тех, кто готовил братоубийственную бойню, защищал идею мира и дружбы между народами.

В «Примечаниях Брюньонова внука» Роллан приводит отзыв М. Горького о своем произведении и так его поясняет: «...когда Горький пишет, что «Кола Брюньон», который ему нравится больше всех моих книг, есть галльский вызов войне, то он не так уж ошибается».

Александр ПУЗИКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

РОМЕН РОЛЛАН
КОЛА БРЮНЬОН

Редактор
Ю. О. Бем
Художественный редактор
Ю. В. Львов
Оформление художника
Б. Н. Сенновского
Технический редактор
К. И. Заботина

Сдано в набор 18.06.79.
Подписано к печати 13.07.79.
Формат 70х108/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 11,90. Уч.-изд. л. 10,64.
Тираж 220 000 (3-й завод 150 001—220 000) экз.
Заказ № 2980. Цена 95 коп.

Типография издательства «Советская Кубань»,
г. Краснодар, ул. имени Шаумяна, 106.


95 коп.

